Колин
Маккалоу
Поющие
в терновнике

Колин Маккалоу
Поющие в терновнике

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129525
Поющие в терновнике: Художественная литература; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-087970-0

Аннотация

Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь – роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще большую популярность.

В этой книге есть все – экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу… и вечной любви мужчины и женщины.

Содержание

Предисловие 5
I 26
Конец ознакомительного фрагмента. 103

Колин Маккалоу
Поющие в терновнике

Colleen McCullough
THE THORN BIRDS

© Colleen McCullough, 1977
© Предисловие. Л. Сумм, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Предисловие
Последняя фраза

28 апреля 1789 года на корабле, перевозившем саженцы хлебного дерева с Таити на Ямайку, вспыхнул бунт. Жестокость ли капитана тому причиной или непонятная рядовым участникам экспедиции «прихоть» поливать саженцы пресной водой, в то время как людям ее выдавали строго по рациону, или же не отпускали чары таитянок – впервые английские матросы почувствовали себя не винтиками хорошо налаженной системы, а мужчинами, желанными любовниками – объяснений хватает. Вероятно, мятеж вспыхнул именно из-за совпадения всех этих неоднородных причин, как будто сошлись в одну точку разные линии повествования. Если Колин Маккалоу надумает взяться за историю острова Норфолк, на котором она живет уже 35 лет – а она грозилась – у нее, конечно же, проступят все эти сюжеты, и будет воздано должное незаурядной личности лейтенанта Кристиана, который увлек за собой экипаж. Так выстроены «Поющие в терновнике», так выстроена и «Песнь о Трое»: меняются повествователи, смещаются точки зрения, рядом с вечным чувством присутствует экономический фактор. Чтобы избежать спойлеров, сошлемся на пример из «Песни о Трое»: греки рвутся на войну не только из-за Елены Прекрасной, но

и ради «нефти» Бронзового века – олова. И харизма Ахилла, рожденного для дружбы и войны, и супружеская слабость Менелая, и откровенная женская сексуальность, и политические интриги, и психология толпы – все это есть в «Песни о Трое» и, если дождемся, будет в «Баунти».

На закате своей творческой жизни – на прогретом субтропическим солнышком закате – Колин успевает едва ли не больше прежнего. В 2007 году, достигнув семидесяти лет, она подводила итоги, сомневаясь, много ли еще удастся написать: унаследованное от матери заболевание глаз лишило ее зрения на одном глазу и подтачивало второй. Писательница торопилась завершить серию «Властителей Рима». Первоначально она хотела остановиться на смерти Цезаря и гибели его убийц. Вышедший в 2002 году двухтомник «Октябрьский конь» – завораживающее чтение: здесь в единый узел сплетаются исторические события, последствия которых ощутимы и спустя два тысячелетия, и живые, складывающиеся на глазах читателя, отношения между людьми. В книге охвачены экономические и политические соображения и частная выгода; волнения александрийской черни, богатства и коррупция Малой Азии, опасности мореплавания, точные детали сражения при Филиппах, родословная правителей Рима; различные проявления общечеловеческой природы, плоды воспитания и симптомы болезней (Маккалоу, со своим медицинским образованием, высказывает интересные и для профессиональных историков предположения о

природе эпилептических припадков Цезаря, а у преемника Цезаря, будущего императора Августа, диагностирует астму с аллергией на пыль). Иллюстрирующие книгу портреты главных действующих лиц рисовала сама Колин, ориентируясь на античные бюсты: рисование было ее увлечением с детства наряду с чтением, и, выбирая себе в тридцать лет источник дополнительного приработка, она сначала попробовала живопись (тоже, кстати, успешно), а потом уж, на радость нам, литературу. Наряду с портретами, максимальным выражением свободы автора («такими я их вижу»), все тома «Властителей Рима» снабжены и несколько неожиданным для жанра исторического романа аппаратом: не только списком персонажей, но и подробным словарем терминов. В авторских комментариях Колин строго размежевывает свои гипотезы и общепринятые теории, отграничивает предположения от установленных наукой фактов. Иными словами, можно читать любую книгу в этой серии как роман, ведь автор соблюдает главное условие художественного текста – ощущение прошлого как становящегося, непосредственное переживание, присутствие во времени.

А можно привлечь семитомник и как дополнительное чтение по истории античности.

Основа такой работы – сбор материала. «Сначала я делаю выписки, потом дважды их перепечатываю, и они вот тут», – пояснила Колин корреспонденту, прилетевшему к ней за тысячи миль ради юбилейного интервью. «Вот тут»

– понятное дело, в голове. А чтобы прочнее укладывалось, Колин так и не перешла с громоздкой электрической машинки IBM на компьютер. В узком кабинете норфолкской виллы она вращается на инвалидном кресле (подводят и мышцы спины) между трехсторонним, в форме буквы П, столом: машинка, рукописи, стопки отпечатанных заметок. Вымысел можно создавать и вслепую, диктуя секретарям – население острова, где всего-то значилось 2300 человек, ощутимо увеличилось за счет свиты Маккалоу, тех, кто читает ей вслух и печатает под ее диктовку. Но исторические книги – только своими руками, выписав и дважды перепечатав каждую деталь. Вот почему, когда настойчивые письма читателей и собственные размышления над историей убедили Колин Маккалоу, что «поворот к империи» следует довести от Мария и Суллы не до гибели Цезаря, но несколько дальше, до падения Антония и Клеопатры и утверждения Октавиана Августа в качестве единого императора Европы и Азии, она принялась за седьмой том. И лишь закончив его к своему семидесятилетию, вернулась к той серии детективов, которую начала в 2006 году, и теперь стабильно выпускает в год по очередному приключению детектива Дельмонико (для XXI века и это – ретродетективы, действие происходит в Америке 1960-х). Осуществила Колин Маккалоу и давнюю озорную затею, опубликовав в 2008 году своеобразный фанфик к «Гордости и предубеждению» Джейн Остин. Нелюбимая Джейн Остин средняя из сестер Беннет, педантичная, некра-

сивая, сухая Мэри, которой всего-то уделено в романе восемь фраз, в этом продолжении становится главной героиней, ученой, феминисткой, борцом за права бедных. Мэри достаются потрясающие приключения, хороший муж, интересное дело, а главное – независимость. Книга так и называется «Независимость Мэри Беннет».

Женская независимость – ключевая для Колин Маккалоу тема. Родившись в 1937 году в Новой Зеландии, подрастая в столь же колониально-консервативной Австралии, Колин с малолетства задумывалась над возможностью самостоятельности и самообеспечения. В поколении ее матери, в том самом, рожденном в Первую мировую поколении, к которому принадлежит главная героиня саги «Поющие в терновнике», работа все еще остается уделом женщин из низшего класса. Домашняя прислуга – наиболее очевидный вариант, официантка – путь скользкий, медсестрой (скорее, нянечкой) – крошечный заработок, монастырская дисциплина, в начале XX века в этой роли и предпочитали видеть монахинь. Все это незавидная доля, завидная – выйти замуж. И совмещать роли прислуги, нянечки, если придется, то и домашней проститутки, причем задаром. Вокруг Колин наблюдала немало дисфункциональных семей, начиная со своей собственной. Холодная, явно не предназначенная для семейной жизни мать: она рано утратила интерес к жизни, подменив его глухим эгоизмом. В том юбилейном интервью Колин с присущей ей резкой прямотой сказала: мать оглохла и ослепла,

превратилась в овощ, но «смертельной хваткой цеплялась за жизнь и дотянула до 98 лет, измучив всех нас». Отец был более живым, но и его энергия скорее пугала, чем ободряла: он то пытался утвердиться в семье, то бросался в очередной обреченный проект заработать, разбогатеть, но в любом своем качестве – pater familias или добытчика – не мог обеспечить ни жене, ни сыну и дочери самого насущного: тепла, уверенности в завтрашнем дне, права побыть наедине с собой. В романах, преимущественно викторианских, которые жадно поглощала Колин, участь женщины выглядела и того печальнее, а более всего огорчал хеппи-энд: если девушка еще могла читать книги, предаваться мечтам, проявлять хоть какое-то подобие индивидуального вкуса (только не чересчур, женихов бы не распугать), под звон свадебных колоколов ловушка захлопывалась. И Колин уже в младшей школе приняла решение: получить профессию, отдать все силы работе, никогда не выходить замуж и вообще эту сторону жизни не затрагивать, чтобы никакие уловки пола или социума не сбили с избранного пути. И еще один зарок она дала себе в ту пору, но об этом чуть позже. Продлим интригу.

Поколение Колин все же совсем другое: высшее образование для девушек уже не казалось чем-то экзотическим, появилась и возможность профессионального, достойно оплачиваемого труда. Как истинный гуманитарий, уже в выпускном классе Колин подрабатывала уроками и журналистикой, но в итоге выбрала медицинский факультет. Оно и понятно:

медицина, наряду с преподаванием, – та область, где присутствие женщины поощряется даже традиционным обществом. Но женщину-преподавателя такое общество удерживает в пределах младшей школы и школы для девочек, не позволяя ей свободно делать карьеру, а женщина-врач может сравняться с мужчиной. И нацеливалась Колин амбициозно – на хирургическое отделение.

Типичный для Колин парадокс обнаружился, когда младшекурсников пригласили наблюдать за операцией: ее кожа оказалась слишком чувствительной. Нервы не подвели, Колин деловито трудилась в морге. Ее гуманитарный мозг с легкостью впитывал анатомические и прочие познания. Рука художника уверенно орудовала скальпелем. Но специальное мыло, которым хирурги обрабатывали руки, вызвало дерматит. Несколько упорных попыток – тщетно. Колин покрывалась красными пятнами при малейшем соприкосновении с дезинфицирующим средством. Сейчас подобрали бы альтернативу мылу, но тогда Колин пришлось искать альтернативу облюбованной профессии. К счастью, работа теоретика была для нее столь же органична, как практическая медицина. И юная студентка смогла заняться чрезвычайно интересной, новой и многообещающей наукой о мозге – той, что по-английски называется neuroscience, а по-русски то неврологией, то нейробиологией и, кажется, с точки зрения специалистов, оба перевода неверны. В 1950-х годах эта наука еще только формировалась, и границы ее интересов, как и

ее методы, еще долго будут уточняться. Насколько молода и жива была эта наука в ту пору, легко судить и по биографии Маккалоу: вчерашняя выпускница стала одним из основателей неврологического отделения в сиднейской больнице Норт Шор (попросту говоря, и было-то там несколько специалистов, ради которых открыли новое отделение). Уже в 26 лет она получила приглашение работать в лондонской больнице, а четыре года спустя уехала в медицинскую школу Йеля заниматься научной работой и преподавать. Можно себе представить, насколько востребована была эта самая нейробиология и каким великолепным специалистом была Колин Маккалоу, если к тридцати годам оказалась на преподавательской и педагогической работе в одной из самых известных медицинских школ США. Однако спрос рождает предложение, и лет через пять Колин ощутила, как ей наступают на пятки молодые выпускники того же Йеля. Не в происхождении и связях загвоздка – австралийцы пользовались в Штатах всеми правами, да и натурализоваться в любой момент было можно, и авторитет Колин заслужила такой, что никаким фаворитизмом его не обойти – но одно было непоправимо: ее пол. Будучи женщиной, она едва ли могла рассчитывать на что-то лучшее, чем уже имевшаяся у нее должность научного сотрудника и преподавателя. Профессор – вряд ли. И (мы все же в середине 1970-х) ее ставка составляла чуть больше половину от ставки мужчины на той же должности. Социальная справедливость: мужчина содержит

семью, одинокая женщина вполне может довольствоваться меньшим.

Одинокая женщина в самом деле могла довольствоваться половинной ставкой. Пока не задумывалась о старости: маленькая ставка – ничтожная пенсия. Однокомнатная квартира, вход с общего балкона. Экономия на отоплении. Продукты из магазина со скидками. Вечная озабоченность вопросом, как перебиться.

Колин Маккалоу, трезвомыслящая женщина, всерьез занялась решением этой проблемы. С ее интересом к женской независимости, казалось бы, она должна была принять участие в гражданской борьбе за равноправие. Но она предпочитала индивидуальные решения, полагаясь только на собственные силы. Нужно было добыть денег, чтобы обрести наконец полную уверенность в завтрашнем и послезавтрашнем дне.

Сначала она попробовала подработать живописью. Прошли две довольно успешные выставки, но доход от них был ничтожный и малонадежный. Тогда Колин пустила в ход свой козырь: написала роман. По ее словам, именно затем, чтобы к зарплате научного сотрудника иметь приварок. Примерно с таким прицелом: гонорар вложить в надежные акции и постепенно обеспечить себе независимый доход, обзавестись собственным домом. Для верности Колин наделила всем этим героиню своей первой книги. Эта женщина лет сорока выросла в приюте и смолоду сама себя содержала. Под-

учившись, устроилась в преуспевающую компанию личным помощником руководителя, большую часть зарплаты откладывала, поскольку не знала никаких соблазнов молодости. В тридцать лет попросила своего босса поместить накопленные деньги в ценные бумаги и продолжала копить. И вот у нее дом в городе, вилла в прекрасной глуши, отличный автомобиль с сиденьями из хорошо выделанной кожи, недешевые костюмы и украшения. Она никогда не была близка с мужчиной, ей мешает верещание цикад в саду, спускаясь из своей виллы на пляж, она не решается войти в воду – эта австралийка (Колин Маккалоу перенесла место действия в знакомый с юности ландшафт) не умеет плавать. А потом (вернее, на первой же странице романа) она встречает Тима – юного, прекрасного, словно Аполлон, доброго и с уровнем развития шестилетнего ребенка.

Чем подробно пересказывать, лучше сразу перейти к последней фразе. Колин Маккалоу уверяет, что, приступая к очередной книге, может ничего не знать, но последнюю фразу знает твердо. Тем более что в данном случае с этой фразы все и началось: ее Колин услышала от женщины, которая привела на прием умственно отсталого юношу:

– Это не сын, это мой муж.

Первым романом Колин рассказала себе не только о том, чего у нее пока нет и чего она хотела бы и рассчитывает добиться – она вспомнила и о том, чего у нее нет и, вероятно, никогда не будет. Неожиданно для автора рядом с темой

профессионализма и независимости проступила иная, личная и болезненная тема: женского одиночества, страха перед жизнью, безнадежно упущенных лет. Героине «Тима» ниспослано чудо, и она сумела это чудо удержать. В книге-то оно так, но разве такое может случиться с автором? Колин, человек трезвый, на чудеса не рассчитывала, в особенности на внезапный дар любви. В этом смысле она давно поставила на себе крест. И чтобы понять, отчего же ей не полагается любви, она взялась за вторую книгу, за семейную историю в трех поколениях. По возрасту сама Колин попадает в младшее поколение, она – дочь Мэгги, а не сама Мэгги, хотя у читателя может сложиться иное впечатление, как потому, что Мэгги находится в средоточии сюжета, так и потому, что Мэгги написана с интересом и сочувствием. Дочка странная, как бы с природным изъяном – холодностью, неумением любить родителей, собственнической привязанностью к брату, страхом перед мужской любовью. Такой Колин написала себя, хотя, вероятно, уже тогда понимала, что причина скорее в матери, чем в ней самой. Она взяла на себя ответственность за свой склад характера и свои отношения с жизнью – и это спасло ее, когда жизнь внезапно повернулась к писательнице благоприятной, пугающе изобильной стороной.

«Тим» принес ей пятьдесят тысяч долларов, сумма для начинающего автора даже по современным представлениям весьма приличная. «Поющие в терновнике» вышли втрое длиннее, и Колин рассчитывала на сто пятьдесят тысяч и по-

купку квартиры или дома. Когда же только в Америке права были приобретены почти за два миллиона, всю концепцию постепенного благоразумного накопления пришлось пересматривать.

Маккалоу разом получила ту сумму, которую могла бы собрать разве что к пенсии, неустанно выпуская книгу за книгой и деньги, по примеру той своей героини, вкладывая в акции. В самом начале пути цель уже была достигнута. Можно сразу выйти на пенсию. Можно никогда больше не писать для заработка, если и писать – так только для удовольствия. Она именно так и поступила. С сорока лет Колин Маккалоу сделалась профессиональной писательницей – и вместе с тем антипро-фессиональной, ибо она решительно отвергала и продолжает вот уже тридцать семь лет отвергать грамотный коммерческий совет: «Поющих в терновнике-2» не будет, наотрез заявила она. У нее, оказывается, со школьных лет была мечта написать как минимум по книге в каждом из любимых читателями жанров. И она осуществила эту мечту, вместо очередной австралийской семейной саги сочинив семь томов исторических романов (попутно удостоилась докторской степени по истории), детективный сериал, исторические любовные романы, разнузданную «Непристойную страсть», фантастику-антиутопию, биографию современника, биографию одного из ранних поселенцев Австралии, поваренную книгу. К семейной саге она вернулась только что, в 2013 году, главным образом потому, что ее пленило сло-

во Bittersweet, сладостно-горький, и показалась забавным написать историю четырех сестер, двух близнечных пар, которые вступают в жизнь между двумя войнами. Вновь, как и в «Поющих в терновнике», в «Октябрьском коне», в «Песни о Трое», Колин Маккалоу отталкивается от слова и связанного с ним образа – птицы, чье сердце пронзено шипом; лучшего коня, приносимого в жертву во благо города и мира; прекрасного юноши, чья красота полнее всего раскрывается в наготе и смерти; горько-сладостной текстуры жизни.

Ни один писатель не свободен от некоей сквозной темы. Он может менять сюжеты и жанры, писать ради славы или ради денег, вкривь и вкось судить о природе своего дарования, но нечто главное прорвется и утвердится. В столь разных по замыслу и назначению книгах Колин Маккалоу упорно проступает эпическое начало. Оно не только в размахе, не только в потребности добраться до корней и сути, запечатлеть исторический момент выхода Австралии из провинциальной изоляции на мировую арену, превращения Рима из замкнутого на себе города в центр ойкумены, появления у греков геополитического мышления. Эпическое начало – в соединении общечеловеческого и конкретного, исторического и домашнего. Человек по своему нелепому устройству отталкивается и от чересчур знакомого (зачем мне опять про любовь, отвагу, верность дружбы, страх смерти?) и от «чужого» (далекая Австралия, Древний Рим, мифическая Троя – мне есть до них дело?). И чтобы втянуться, опять же тре-

буется нечто узнаваемое (любовь, дружба, миф) и обещание новизны (неведомый европейцам и американцам континент, например). Как соединить это, как задать верную меру? Эпосом с гомеровских времен найдено единственное средство: сравнение.

И чем чудовищнее и необычнее ситуация, тем более повседневное и прозаичное требуется сравнение. Жизнь Одиссея висит на волоске между двумя морскими чудищами, Сциллой и Харибдой, и Гомер считает уместным обозначить тот час, когда с грохотом извергается вода и корабль, потерявший часть гребцов, вырывается все же на волю, как ту самую пору дня, когда усталый пахарь присаживается на меже скушать свой бутерброд с сыром. Где тот пахарь, где суша, и плуг, и хлеб, и твердая пища? Ничего, кроме бушующей бездны вокруг, и слушатели, обступившие певца, едва ли видят что-либо, кроме этой бездны – и вдруг, спохватившись, обводят друг друга взглядом и вспоминают плуг, запряжку быков, хлеб с сыром, свою повседневность, которая только что была воспета в сравнении, в слиянии с морем и мифом.

Сравнение работает в обе стороны. Будничную жизнь прославляет, книжную приближает к реальной. И возвышает, и соизмеряет с человеком. Этот странный образ птицы, которая поет, истекая кровью из пронзенного шипом сердца – откуда он? Кто-то помнит его из сказок Андерсена, кто-то из восточной поэзии, Колин Маккалоу подает его как родной, австралийский.

Таких образов в романе очень немного. Собственно, эта птица в терновнике да пепел розы – вот главные. Их и не должно быть много, это ведь не украшение, а символ – точка схождения земного и небесного, тот миг, в котором осмысляется жизнь. И насильно символы не расставишь, эпос умышленно не сочинишь – символ возникает из равенства жизни и слова, писателя и героя. Эпос – высшая свобода, какая только возможна для человеческого творения: автор утрачивает власть над героями.

В конце саги освобождение наступило для всех персонажей Маккалоу, даже для ее альтер эго. Дочь сумела принять себя такой, как есть. Смерть единственного брата из бессмыслицы стала эпосом. Примирение с матерью состоялось – но не путем поглощения. Дочь не вернется в имение, у нее есть, пусть запоздало, муж, есть любимое дело.

Герои свободны – неужели же над автором книга надсмеется? Ведь с символичностью и значительностью жизни можно переборщить, положиться на знаки и стать их рабом. Не расставила ли себе Колин слишком четкие знаки – не расставила ли себе ту самую ловушку, из которой бежала? А теперь что же? Возвращаться к матери, жить, отбывая дочерний долг?

Скорее всего, именно этого от нее и ждали: работать дальше ей не было никакой надобности, вернуться, приобрести землю, построить дом, покоить близких – чем не хеппи-энд. И впервые в жизни Колин Маккалоу ощутила страх. Для

одинокой самостоятельной женщины, построившей жизнь вокруг необходимости зарабатывать на жизнь и обеспечить себе такую же самодостаточность в старости, что может быть страшнее, чем преждевременно сбывшаяся мечта? Нет необходимости думать о будущем. А значит, следует жить настоящим. Но жить настоящим она не умела и не могла. До такой степени, что пугала себя и вероятностью вложить деньги в дутые бумаги, пасть жертвой мошенников и того пуще: выскочить замуж за какого-нибудь альфонса. Она ведь совсем не искушена в жизни, не влюблялась, не флиртовала. Она поверит первому же ласковому слову, она обманется в собственных чувствах и вместо независимости получит худший из всех видов несвободы – построенный на лжи и самообмане брак. Ей стало так страшно, что она готова была даже вернуться в Австралию. По крайней мере, на знакомую территорию.

Но хеппи-энд не в том, чтобы разбогатеть и вернуться в Австралию. То есть хеппи-энд, может быть, и в этом. Но мы же говорим не о романе с хеппи-эндом, а об эпосе, о мере, сравнении, выравнивании. Человек, написавший такую книгу, просто не мог, не смел бояться жизни. Если автор сумел дать свободу своей книге, то и книга должна освободить автора – вот единственная проверка подлинности, эпос ли это или так себе, искусственный механизм. Что-то произошло в душевном строе Колин Маккалоу – как и что, мы не знаем, отношения написанной книги с автором еще таинствен-

нее, чем отношения автора с созидаемой книгой – и Колин стала целиком и полностью самой собой. Той, какой ее застанут корреспонденты и спустя тридцать, и спустя тридцать пять лет. Беспардонно курящей на крыльце австралийского ресторанчика: «есть свои преимущества в инвалидном кресле, не покатят же меня в отделение». Не страшащейся ни боли в спине, ни слепоты. Не желающей писать коммерческие продолжения, зато превратившей свою жизнь в продолжение собственных книг.

Делать в Америке и правда было нечего, но и возвращаться Колин не спешила – как вариант, подумала она, сгодился бы остров. Немноголюдный остров, достаточно близко от Австралии, чтобы мать можно было проведывать, и достаточно далеко, чтобы жить своей жизнью. Она отправилась посмотреть остров Норфолк – и осталась там жить.

Остров Норфолк в южной части Тихого океана англичане начали осваивать в конце XVIII века. Растили преимущественно лен и коноплю: Екатерина Великая отказала Англии в поставках из России, а владычица морей нуждалась в веревках. Трудились в основном каторжники, их завозили и на острова, не только в Австралию. В XIX веке каторжную тюрьму закрыли и эвакуировали на Норфолк большую часть жителей Питкэрна, потомков бунтовщиков в «Баунти».

Флетчер Кристиан, возглавивший мятеж на корабле, несмотря на свою молодость, был не только отважен и вспыльчив. Он оказался прекрасным вождем для своего ма-

лочисленного народа. Большинство матросов желало, конечно же, вернуться на Таити, к своим женщинам. Кристиан выполнил их желание, и его тоже ждала там любимая, но оставаться на Таити Кристиан считал безумием: очередной английский корабль их обнаружит, пришлют карательную экспедицию, и висеть им всем на реях. Часть экипажа все же осталась, понадеявшись отсидеться в джунглях, когда появится корабль – этих матросов постиг печальный конец. Прочие под началом Кристиана, вместе с туземными женщинами, а также и туземными мужчинами, возжаждавшими приключений, отправились на поиски необитаемой земли и в итоге зацепились за крошечный Питкэрн. Здесь им тоже пришлось нелегко: спустя несколько лет таитяне взбунтовались против белых, при подавлении этого мятежа Кристиан погиб и уцелело всего пятеро белых, которые без командира спились, перессорились, кто погиб в драке, кто утонул. Когда английский корабль спустя четверть века все же отыскал их, островом правил единственный уцелевший моряк по фамилии Адамс. Поскольку моряки брали себе по несколько жен, да еще порой и менялись женщинами, основной задачей патриарха было вести родословные книги и следить за тем, чтобы сводные братья и сестры не вступали друг с другом в брак.

И эта удивительная маленькая колония процветала. К ней присоединился присланный из Англии священник, какие-то до нее добрались жители соседних островов, но главным об-

разом это были потомки бунтовщиков с «Баунти» и их таитянских жен. Когда число жителей перевалило за сотню, им стало не хватать пресной воды на их маленьком острове, и взять ее было неоткуда. Британское правительство попыталось решить проблему, переселив питкэрнцев на родину их бабушек, на Таити – оказалось, что для них невозможна жизнь в многолюдстве, они впадали в депрессию, подхватывали все местные инфекции, умирали. Тогда попробовали Норфолк – и там они прижились. С полсотни коренных жителей и поныне держатся за свой Питкэрн, однако на Норфолке питкэрнцы дали многочисленное потомство, из 2300 жителей их, по меньшей мере, тысяча. Из-за понятного однообразия фамилий и довольно скудного выбора имен (например, среди потомков Кристиана в каждом поколении непременно имеется Четверг Октябрь, в честь дня высадки на Питкэрн) в телефонном справочнике указываются также прозвища. Под влиянием питкэрнцев на Норфолке наряду с английским языком используется «питкэрнский» и чаще, чем «Боже, храни королеву», звучит гимн Питкэрна – стихи из 25-й главы Евангелия от Матфея:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня… истинно говорю вам; так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Девизом Норфолк выбрал себе слово из гимна. Союзное слов inasmuch – «так как» в Синодальном переводе, букваль-

но же: «настолько, насколько». Союз, задающий равенство и меру, соотношение земного и небесного, жизни и осмысления жизни.

Удивительно ли, что и Колин прижилась на этом острове? Огляделась, купила дом-развалюху, устроила себе кабинет, наняла работников ремонтировать старые стены и приводить в порядок сад. А сама уселась писать следующую книгу.

Однажды один из работников, Рик Робинсон, услышал из сада смех. Уж над чем там Колин смеялась сама с собой, что такое ввернула в рукопись «Непристойной страсти»? Рику было 33 года. Он всю жизнь прожил на острове, он, потомок бунтовщиков и таитянок, кое-что понимал в свободе и в женщинах. Никогда, говорит он и тридцать лет спустя, никогда он не слышал такого свободного, такого сексуального смеха. И он пошел на этот призыв. Через несколько месяцев они поженились. Колин на 13 лет старше мужа. Они живут счастливо и поныне.

Да, свободу Колин этот брак все же несколько ограничил. В самой писательнице органично сочетается работающий сутки напролет за письменным столом интроверт с общительным, жаждущим путешествий и многолюдства «путешественником по жизни». Но Рик, как и все жители Норфолка, не переносит ни чужаков, ни долгой разлуки с домом, ни бездельной болтовни. В последние годы им приходится часто летать в Сидней – регулярные процедуры для спасения глаз Колин. И чтобы Рик не маялся, Колин придумала выход:

купила в Сиднее пустую, необустроенную квартиру. Теперь в каждый приезд Рик занят ремонтом и чувствует себя дома. Потому что для него, как и для Колин, своя жизнь – только то, что сложено своими руками.

– Они все такие там, на острове, – поясняет Колин. – Если нужно просверлить дырку, они сперва просверлят ее в голове, а потом уже возьмутся за инструмент. Они всегда знают, каков будет результат, иначе не возьмутся за дело.

И она такая же там, на острове.

– Некоторые писатели говорят, что заранее не знают, какой будет последняя фраза в их книге. Не представляю себе: я всегда знала, какой будет последняя фраза.

Л. Сумм

Джин Истхоуп, «старшей сестре»

Есть такая легенда – о птице, что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо все лучшее покупается лишь ценою великого страдания… По крайней мере так говорит легенда.

I
1915–1917
Мэгги

1

Восьмого декабря 1915 года Мэгги Клири исполнилось четыре года. Прибрав после завтрака посуду, мать молча сунула ей в руки сверток в коричневой бумаге и велела идти во двор. И вот Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот и нетерпеливо теребит сверток. Не так-то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу; от нее немножко пахнет большим магазином в Уэхайне, и Мэгги догадывается: то, что внутри, не сами делали и никто не дал, а – вот чудеса! – купили в магазине.

С одного уголка начинает просвечивать что-то тонкое, золотистое; Мэгги еще торопливее набрасывается на обертку, отдирает от нее длинные неровные полосы.

– Агнес! Ой, Агнес! – говорит она с нежностью и мигает, не веря глазам: в растрепанном бумажном гнезде лежит кукла.

Конечно, это чудо. За всю свою жизнь Мэгги только раз

была в Уэхайне – давно-давно, еще в мае, ее туда взяли, потому что она была пай-девочкой. Она забралась тогда в двуколку рядом с матерью и вела себя лучше некуда, но от волнения почти ничего не видела и не запомнила, только одну Агнес. Красавица кукла сидела на прилавке нарядная, в розовом шелковом кринолине, пышно отделанном кремовыми кружевными оборками. Мэгги в ту же минуту окрестила ее Агнес – она не знала более изысканного имени, достойного такой необыкновенной красавицы. Но потом долгие месяцы она лишь безнадежно тосковала по Агнес; ведь у Мэгги никогда еще не было никаких кукол, она даже не подозревала, что маленьким девочкам полагаются куклы. Она превесело играла свистульками, рогатками и помятыми оловянными солдатиками, которых уже повыбрасывали старшие братья, руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи.

Мэгги и в голову не пришло, что Агнес – игрушка. Она провела ладонью по складкам ярко-розового платья – такого великолепного платья она никогда не видела на живой женщине – и любовно взяла куклу на руки. У Агнес руки и ноги на шарнирах, их можно повернуть и согнуть как угодно; даже шея и тоненькая стройная талия сгибаются. Золотистые волосы высоко зачесаны и разубраны жемчужинками, открытая нежно-розовая шея и плечи выступают из пены кружев, сколотых жемчужной булавкой. Тонко разрисованное фарфоровое личико не покрыли глазурью, и оно матовое, нежное, совсем как человеческое. Удивительно живые

синие глаза блестят, ресницы из настоящих волос, радужная оболочка – вся в лучиках и окружена темно-синим ободком; к восторгу Мэгги, оказалось, что, если Агнес положить на спину, глаза у нее закрываются. На одной румяной щеке чернеет родинка, темно-красный рот чуть приоткрыт, виднеются крохотные белые зубы. Мэгги уютно скрестила ноги, осторожно усадила куклу к себе на колени – сидела и не сводила с нее глаз.

Она все еще сидела там, под кустом, когда из зарослей высокой травы (так близко к забору ее неудобно косить) вынырнули Джек и Хьюги. Волосы Мэгги, как у истинной Клири, пылали точно маяк: всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказание – у всех рыжие вихры, только разных оттенков. Джек весело подтолкнул брата локтем – гляди, мол. Переглядываясь, ухмыляясь, они подобрались к ней с двух сторон, будто они солдаты и устроили облаву на изменника маори. Да Мэгги все равно бы их не услышала, она была поглощена одной только Агнес и что-то ей тихонько напевала.

– Что это у тебя, Мэгги? – подскочил к ней Джек. – Покажи-ка!

– Да, да, покажи! – со смехом подхватил Хьюги, забежав с другого боку.

Мэгги прижала куклу к груди, замотала головой:

– Нет! Она моя! Мне ее подарили на рожденье!

– А ну, покажи! Мы только поглядим!

Гордость и радость взяли верх над осторожностью. Мэгги подняла куклу, пускай братья полюбуются.

– Смотрите, правда красивая? Ее зовут Агнес.

– Агнес? Агнес? – Джек очень похоже изобразил, будто подавился. – Вот так имечко, сю-ю! Назвала бы просто Бетти или Маргарет.

– Нет, она Агнес.

Хьюги заметил, что у куклы запястье на шарнире, и присвистнул.

– Эй, Джек, гляди! Она может двигать руками!

– Да ну? Сейчас попробуем.

– Нет-нет! – Мэгги опять прижала куклу к груди, на глаза навернулись слезы. – Вы ее сломаете. Ой, Джек, не тронь, сломаешь!

– Пф-ф! – Чумазыми смуглыми лапами Джек стиснул запястья сестры. – Хочешь, чтоб я тебе самой руки выкрутил? И не пищи, плакса, а то Бобу скажу. – Он стал разнимать ее руки с такой силой, что они побелели, а Хьюги ухватил куклу за юбку и дернул. – Отдай, а то хуже будет.

– Не надо, Джек! Ну пожалуйста! Ты ее сломаешь, я знаю, сломаешь! Ой, пожалуйста, оставь ее! Не тронь, ну пожалуйста!

Ей было очень больно, она всхлипывала, топала ногами и все-таки прижимала куклу к груди. Но под конец Агнес выскользнула из-под ее рук.

– Ага, есть! – заорал Хьюги.

Джек и Хьюги занялись новой игрушкой так же самозабвенно, как перед тем их сестра, стащили с куклы платье, нижние юбки, оборчатые штанишки. Агнес лежала нагишом, и мальчишки тянули ее и дергали, одну ногу задрали ей за голову, а голову повернули задом наперед, сгибали и выкручивали ее и так и сяк. Слезы сестры их ничуть не трогали, а Мэгги и не подумала где-то искать помощи: так уж было заведено в семье Клири – не можешь сам за себя постоять, так не надейся на поддержку и сочувствие, даже если ты девчонка.

Золотые куклины волосы растрепались, жемчужинки мелькнули в воздухе и пропали в густой траве. Пыльный башмак, который недавно топал по кузнице, небрежно ступил на брошенное платье – и на шелку остался жирный черный след. Мэгги поскорее опустилась на колени, подобрала крохотные одежки, пока они не пострадали еще больше, и принялась шарить в траве – может быть, найдутся разлетевшиеся жемчужинки. Слезы слепили ее, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого, – ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать.

Фрэнк швырнул шипящую подкову в холодную воду и выпрямился; в последние дни спина не болела – пожалуй, он привыкает наконец бить молотом. Давно пора, сказал бы отец, уже полгода работаешь в кузнице. Фрэнк и сам помнил, как давно его приобщили к молоту и наковальне; он ме-

рил эти дни и месяцы мерою обиды и ненависти. Теперь он швырнул молот в ящик для инструментов, дрожащей рукой отвел со лба прядь черных прямых волос и стянул через голову старый кожаный фартук. Рубашка лежала в углу на куче соломы; он медленно побрел туда и стоял минуту-другую, широко раскрыв черные глаза, смотрел в стену, в неструганые доски, невидящим взглядом.

Он был очень мал ростом, не выше пяти футов и трех дюймов, и все еще по-мальчишески худ, но обнаженные руки уже бугрились мышцами от работы молотом и матовая, безупречно чистая кожа лоснилась от пота. Из всей семьи его выделяли темные волосы и глаза, пухлые губы и широкое переносье тоже были не как у других, но это потому, что в жилах его матери текла толика крови маори – она-то и сказалась на облике Фрэнка. Ему уже скоро шестнадцать, а Бобу только-только минуло одиннадцать, Джеку – десять, Хьюги – девять, Стюарту – пять и малышке Мэгги – три. Тут он вспомнил: сегодня восьмое декабря, Мэгги исполняется четыре. Он надел рубашку и вышел из сарая.

Их дом стоял на вершине невысокого холма, от сарая – он же конюшня и кузница – до него с полсотни шагов. Как все дома в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато расползался вширь: случись землетрясение, хоть что-нибудь да уцелеет. Вокруг дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами; и трава зеленая, сочная, настоящая но-

возеландская трава. Даже среди зимы, когда, случается, в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают нежных ростков и побегов, снега никогда не бывает, а солнце греет как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько, чтоб иссушить. Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, но вырываются из недр земли. Горло всегда перехвачено ожиданием, всегда ощущаешь под ногами неуловимую дрожь, глухие подземные раскаты. Ибо там, в глубине, таится невообразимая устрашающая сила, сила столь могучая, что тридцать лет тому назад она смела с лица земли огромную гору; в безобидных на вид холмах разверзлись трещины, с воем и свистом вырвались столбы пара, вулканы изрыгнули в небо клубы дыма, и воды горных потоков обжигали. Маслянисто вскипали огромные озера жидкой грязи, волны неуверенно плескались о скалы, которых, быть может, они уже не найдут на прежнем месте в час нового прилива, и толщина земной коры кое-где не превышала девятисот футов.

И все же это добрая, благодатная земля. За домом раскинулась чуть всхолмленная равнина, зеленая, точно изумруд на кольце Фионы Клири – давнем подарке жениха; равнина усеяна тысячами белых пушистых комочков, только вблизи можно разглядеть, что это овцы. За волнистой линией холмов голубеет небо и на десять тысяч футов вздымается гора Эгмонт, уходя вершиной в облака, ее склоны еще побелены

снегом и очертания так правильны, так совершенны, что даже те, кто, как Фрэнк, видит ее всю жизнь, изо дня в день, не устают ею любоваться.

Подъем к дому довольно крутой, но Фрэнк торопится, он знает, что отлучаться из кузницы ему сейчас не положено: у отца правила строгие. Но вот он обогнул угол дома и увидел детей под кустом утесника.

Фрэнк сам возил мать в Уэхайн за куклой для Мэгги и до сих пор удивляется, с чего ей это вздумалось. Мать вовсе не склонна делать в дни рождения непрактичные подарки, на это нет денег, и она никогда прежде никому не дарила игрушки. Все они получают что-нибудь из одежды; в дни рождения и на Рождество пополняется скудный гардероб. Но наверное, Мэгги увидела эту куклу, когда один-единственный раз ездила в город, и Фиона об этом не забыла. Фрэнк хотел было расспросить ее, но она только пробормотала, что девочке нельзя без куклы, и скорее заговорила о другом.

Сидя на дорожке, ведущей к дому, Джек и Хьюги в четыре руки безжалостно выворачивали все куклины суставы. Мэгги стояла к Фрэнку спиной и смотрела, как братья издеваются над Агнес. Аккуратные белые носки Мэгги сползли на черные башмачки, из-под праздничного коричневого бархатного платья виднелись голые ноги. По спине рассыпались и сверкали на солнце тщательно накрученные локоны – не медно-рыжие и не золотые, а какого-то особенного цвета между тем и другим. Белый бант из тафты, которому пола-

галось удерживать волосы спереди, чтобы не падали на лицо, обмяк и съехал набок, платье все в пыли. В одной руке Мэгги стиснула куклины одевашки, другой тщетно пытается оттолкнуть Хьюги.

– Ах вы, паршивцы!

Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу: когда Фрэнк ругается, самое разумное – удирать.

– Только троньте еще раз эту куклу, я вам ноги повыдергаю! – закричал им вдогонку Фрэнк.

Потом наклонился, взял Мэгги за плечи и легонько встряхнул:

– Ну-ну, не надо плакать. Они ушли, больше они твою куклу не тронут, будь спокойна. Улыбнись-ка, ведь нынче твой день рождения!

По распухшему лицу девочки в три ручья катились слезы; она подняла на Фрэнка такие огромные, такие страдающие серые глаза, что у него перехватило дыхание. Он вытащил из кармана штанов грязный лоскут, неуклюже вытер ей лицо, зажал в складках носишко:

– Сморкайся!

Мэгги послушалась, слезы высыхали, только говорить было трудно – мешала икота.

– Ой, Ф-ф-фрэнк, они у меня от-от-отняли Агнес! – Она всхлипнула. – У нее в-в-волосы растрепались, и м-ма-ненькие жемчужинки все рассыпались! П-покатились в т-т-траву, и я их никак не н-найду!

И опять прямо на руку ему брызнули слезы; Фрэнк посмотрел на свою мокрую ладонь, потом слизнул с нее соленые капли.

– Ну ничего, сейчас мы их отыщем. Только ведь когда плачешь, так, конечно, ничего в траве не углядишь, и потом, что это ты залопотала, как младенец? Ты давно умеешь говорить не «маненькая», а «маленькая». Давай еще раз высморкайся и подбери свою несчастную… как ее, Агнес? Надо ее одеть, а то она обгорит на солнце.

Он усадил девочку с края дорожки, осторожно подал ей куклу и стал шарить в траве – и скоро с победным криком поднял над головой жемчужину.

– Одна есть! Вот увидишь, мы их все разыщем!

Мэгги с обожанием смотрела на старшего брата, а он все шарил в высокой траве и одну за другой показывал ей найденные жемчужины, потом она спохватилась – у Агнес, наверное, очень нежная кожа, как бы и вправду ее не сожгло солнце, – и принялась одевать куклу. Та как будто всерьез не пострадала. Прическа рассыпалась, волосы растрепались, руки и ноги в пятнах оттого, что мальчишки вертели и крутили их грязными лапами, но целы. У Мэгги над ушами были вколоты черепаховые гребенки – она стала дергать одну, наконец вытащила и принялась расчесывать волосы Агнес, самые настоящие волосы, искусно наклеенные на марлю и выбеленные до соломенно-золотистого цвета.

Мэгги неловко теребила какой-то узел в волосах куклы,

и вдруг случилось ужасное. Волосы оторвались все сразу и спутанным комом повисли на гребенке. Над гладким лбом Агнес не оказалось ничего – не было темени, хотя бы голого черепа. Просто ужасная зияющая дыра. Испуганная Мэгги наклонилась и, вся дрожа, заглянула внутрь. Изнутри неясно угадывались очертания щек и подбородка, свет проникал через приоткрытые губы, и силуэтом чернели зубы, точно у какого-то зверька, а над всем этим Мэгги увидела глаза Агнес – два страшных твердых шарика насажены были на проволочный прут, безжалостно пронзающий голову куклы.

Мэгги отчаянно, совсем не по-детски, вскрикнула, отшвырнула Агнес и все кричала, закрыв лицо руками, ее трясло, колотило крупной дрожью. Потом она почувствовала – Фрэнк отнимает ее ладони от лица, берет ее на руки, прижимает к себе. Она уткнулась лбом ему в шею, крепко обняла – его близость утешала, успокаивала, и Мэгги даже почувствовала, как славно от него пахнет: лошадьми, потом, железом.

Наконец она немного успокоилась, и Фрэнку удалось выспросить у нее, что случилось; он поднял куклу и с недоумением разглядывал ее пустой череп и пытался вспомнить – мучили ли и его непонятные страхи, когда он был малышом. Но нет, его преследовали другие наваждения: люди, перешептывания, косые взгляды. Вспомнились измученное, робкое лицо матери, дрожь ее руки, сжимающей его руку, ее поникшие плечи.

Что же увидела Мэгги, что ее так ужаснуло? Пожалуй, она

бы куда меньше напугалась, если бы Агнес, потеряв волосы, просто залилась кровью. Это дело обычное, в семействе Клири по меньшей мере раз в неделю кто-нибудь уж непременно порежется или разобьется до крови.

– Глаза… глаза… – шептала Мэгги, она отворачивалась, нипочем не хотела смотреть на куклу.

– Чудо, а не кукла! – пробормотал Фрэнк, зарываясь лицом в волосы сестры. Что за волосы, густые, мягкие и такие удивительно яркие!

Добрых полчаса он умасливал Мэгги, пока удалось заставить ее посмотреть на Агнес, и еще с полчаса – пока не уговорил заглянуть в дырявую куклину голову. Он показал девочке, как устроены глаза, как все точно рассчитано и пригнано, чтобы они не косили, легко закрывались и открывались.

– Ну, а теперь тебе пора домой, – сказал он, повыше поднял сестренку, прижал к себе, втиснул куклу посередке. – Мы попросим маму привести ее в порядок, ладно? Постираем и погладим ей платье и приклеим обратно волосы. А с этими жемчужинками я тебе сделаю настоящие шпильки, чтоб не падали, и ты сможешь ее причесывать на все лады, как захочешь.

Фиона Клири на кухне чистила картошку. Она была чуть ниже среднего роста, очень хороша собой, настоящая красавица, но лицо строгое, суровое; безукоризненно стройная

фигура с тонкой талией ничуть не расплылась, не отяжелела, хотя эта женщина и выносила под сердцем шестерых детей. На ней было серое миткалевое платье, длинная юбка спадала до чистого как стеклышко пола; спереди платье прикрывал широчайший накрахмаленный белый фартук, он надевался через голову и завязан был на спине аккуратнейшим жестким от крахмала бантом. С раннего утра и до поздней ночи жизнь ее протекала в кухне и в огороде, ноги в грубых черных башмаках носили ее все по тому же кругу – от плиты к корыту, от стирки к грядкам, а там к бельевой веревке и снова к плите.

Она положила нож на стол, посмотрела на Фрэнка с Мэгги, углы красиво очерченных губ опустились.

– Мэгги, я тебе позволила с утра надеть лучшее платье с одним условием – чтоб ты его не запачкала. А посмотри на себя! Какая же ты грязнуля!

– Она не виновата, мам, – вступился Фрэнк. – Джек и Хьюги отняли у нее куклу, хотели поглядеть, как действуют руки и ноги. Я ей обещал, что мы поправим дело, будет кукла опять как новенькая. Мы ведь сумеем, правда?

– Дай посмотрю. – Фиа протянула руку.

Она была не щедра на слова, больше отмалчивалась. О чем она думала, не знал никто, даже ее муж; держать в строгости детей она предоставляла ему и все, что он велел, исполняла беспрекословно и безропотно, разве только случится что-то уж вовсе не обычное. Мэгги слышала, мальчики

шептались между собой, будто мать боится отца не меньше, чем они сами, но если это было и верно, страх она скрывала под маской непроницаемого, чуть хмурого спокойствия. Она никогда не смеялась и, что бы ни было, ни разу не вспылила.

Внимательно осмотрев Агнес, Фиа положила ее на шкафчик возле плиты и посмотрела на Мэгги.

– Завтра утром я постираю ей платье и сделаю новую прическу. А сегодня вечером, после ужина, Фрэнк может приклеить ей волосы и вымыть ее.

Слова эти прозвучали не то чтобы утешительно, скорее, деловито. Мэгги кивнула, неуверенно улыбнулась; в иные минуты ей ужасно хотелось, чтобы мать засмеялась, но этого никогда не бывало. Мэгги чувствовала – есть у нее с матерью что-то общее, что отделяет их обеих от отца и мальчиков, но мама всегда занята, всегда такая прямая, непреклонная – не подступишься. Кивнет рассеянно, ловко повернется от плиты к столу, колыхнув длинной сборчатой юбкой, и опять работает, работает, работает.

И никто из детей, кроме Фрэнка, не понимал, что в матери живет непреходящая, неисцелимая усталость. Так много надо сделать, и ни на что нет денег, и не хватает времени, и на все про все только одна пара рук. Хоть бы уж Мэгги подросла и стала помощницей; малышка и сейчас делает что попроще и полегче, но ей всего-то четыре, на ее плечи много не переложишь. Шестеро детей – и только одна девочка, да притом самая младшая. Все знакомые и сочувствуют мате-

ри такого семейства, и завидуют, но работы от этого меньше не становится. В рабочей корзинке накопилась гора нештопаных носков, и на спицах еще новый носок, недовязанный, и Хьюги уже вырастает из своих свитеров, а Джек еще не настолько вырос, чтобы отдать ему свой.

По чистой случайности неделю, на которую приходился день рождения Мэгги, Падрик Клири проводил дома. Время стрижки овец еще не настало, и он ходил работать по соседям – пахал и сеял. Сам он был стригаль – занятие сезонное, длится с середины лета и до конца зимы, а потом наступает время окота. Обычно Клири ухитрялся найти достаточно работы, чтобы продержаться с семьей весну и первый месяц лета: помогал принимать ягнят, пахал землю или подменял хозяина какой-нибудь молочной фермы, который не поспевал дважды в день подоить всех коров. Где найдется работа, туда он и шел, предоставляя семье в большом старом доме справляться своими силами; и не так уж это жестоко. Если ты не из тех счастливчиков, у кого есть своя земля, ничего другого не остается.

Когда он в этот день вскоре после захода солнца вернулся домой, лампы были уже зажжены и на высоком потолке плясали тени. Мальчики – все, кроме Фрэнка, – собрались на заднем крыльце, играли с какой-то лягушкой; Падрик сразу понял, где Фрэнк: от поленницы доносилось размеренное тюканье топора. Падрик прошел через широкое крыльцо, по-

чти не задерживаясь, только дал пинка Джеку да дернул за ухо Боба.

– Подите помогите Фрэнку с дровами, бездельники. Да поживей, пока мама не позвала ужинать, не то всем попадет.

Он кивнул Фионе, которая хлопотала у плиты; не обнял ее, не поцеловал, полагая, что всякие проявления нежных чувств между мужем и женой уместны только в спальне. Пока он стаскивал облепленные засохшей грязью башмаки, подбежала вприпрыжку Мэгги с его домашними шлепанцами, и Падрик широко улыбнулся ей; как всегда, при виде малышки в нем всколыхнулось непонятное удивление. Она такая хорошенькая, такие у нее красивые волосы; он подцепил один локон, вытянул и снова отпустил – забавно смотреть, как длинная прядь опять свернется пружинкой и отскочит на место. Потом подхватил дочку на руки, подошел к очагу, подле которого стояло единственное в кухне удобное кресло – деревянное, с резной спинкой и привязанной к сиденью подушкой. Негромко вздохнул, сел, достал свою трубку, пепел небрежно вытряхнул прямо на пол. Мэгги уютно свернулась у отца на коленях, обвила руками его шею и подняла к нему прохладную свежую рожицу – то была ее обычная вечерняя игра: смотреть, как сквозь его короткую рыжую бороду просвечивает огонь.

– Ну, как ты, Фиа? – спросил жену Падрик Клири.

– Все хорошо, Пэдди. Кончил ты сегодня с нижним участком?

– Да, все закончил. Завтра с утра пораньше примусь за верхний. Ох, и устал же я!

– Еще бы. Макферсон опять дал тебе эту норовистую кобылу?

– Ясное дело. Неужто, по-твоему, он станет маяться с этой животиной сам, а мне даст чалого? Плечи ломит, сил нет. Бьюсь об заклад, другой такой упрямой скотины во всей Новой Зеландии не сыщешь.

– Ну, ничего. У старика Робертсона все лошади хорошие, а ты уже скоро перейдешь к нему.

– Поскорей бы. – Падрик набил трубку дешевым табаком, притянул к себе фитиль, торчащий из жестянки подле плиты. На миг сунул фитиль в открытую дверцу топки, и он занялся; Падрик откинулся на спинку кресла, затянулся так глубоко, что в трубке даже как-то забулькало. – Ну как, Мэгги, рада, что тебе уже четыре года? – спросил он дочь.

– Очень рада, пап.

– Мама уже отдала тебе подарок?

– Ой, пап, как вы с мамой догадались, что мне хочется Агнес?

– Агнес? – Он с улыбкой быстро глянул на жену, озадаченно поднял брови. – Стало быть, ее звать Агнес?

– Да. Она красивая, папочка. Я бы целый день на нее смотрела.

– Счастье, что еще есть на что смотреть, – хмуро сказала Фиа. – Джек с Хьюги сразу ухватили эту куклу, бедняга

Мэгги и разглядеть ее толком не успела.

– Ну, на то они мальчишки. Сильно они ее испортили?

– Все поправимо. Фрэнк им вовремя помешал.

– Фрэнк? А что он там делал? Он должен был весь день работать в кузне. Хантер торопит с воротами.

– Фрэнк и работал весь день. Он только приходил за каким-то инструментом, – поспешно сказала Фиа: Падрик всегда был слишком строг с Фрэнком.

– Ой, папочка. Фрэнк мой самый лучший брат! Он спас мою Агнес от смерти, и после ужина он опять приклеит ей волосы.

– Вот и хорошо, – сонно промолвил отец, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

От очага несло жаром, но он этого словно не замечал; на лбу его заблестели капли пота. Он заложил руки за голову и задремал.

От него-то, от Падрика Клири, его дети и унаследовали густые рыжие кудри разных оттенков, хотя ни у кого из них волосы не были такими вызывающе медно-красными. Падрик был мал ростом, но необыкновенно крепок, весь точно из стальных пружин; ноги кривые от того, что он сызмальства ездил верхом, руки словно стали длиннее от того, что долгие годы он стриг овец; и руки, и грудь – в курчавой золотистой поросли, будь она черной, это бы выглядело безобразно. Ярко-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, всегда прищурены, точно у моряка, а лицо славное, улыбчивое и с юмо-

ром, эта неизменная готовность улыбнуться сразу привлекала к нему людей. И притом великолепный, истинно римский нос, который должен был приводить в недоумение сородичей Падрика, а впрочем, у берегов Ирландии во все времена разбивалось немало чужестранных кораблей. Речь его еще сохранила мягкость и торопливую невнятность, присущую голуэйским ирландцам, но почти двадцать лет, прожитых в другом полушарии, наложили на нее свой отпечаток, изменили иные звуки, чуть замедлили темп и придали ей сходство со старыми часами, которые не худо бы завести. Счастливец, он ухитрялся куда лучше многих справляться со всеми трудами и тяготами своей жизни – и, хотя семью держал в строгости и поблажки никому не давал, все дети, за одним исключением, его обожали. Если в доме не хватало хлеба, он обходился без хлеба; если надо было выбрать – обзавестись чем-то из одежды ему или кому-то из его отпрысков, он обходился без обновы. А это в своем роде куда более веское доказательство любви, чем миллион поцелуев, они-то даются легко. Он был очень вспыльчив и однажды убил человека. Но ему повезло, тот человек был англичанин, а в гавани Дан-Лэри как раз стоял под парами корабль, уходящий в Новую Зеландию…

Фиона выглянула из дверей кухни и позвала:

– Ужинать!

Один за другим явились сыновья, последним – Фрэнк с большой охапкой дров, он свалил их в ящик у плиты. Пад-

рик спустил Мэгги с колен, прошел в дальний конец кухни и занял место во главе грубо сколоченного обеденного стола, мальчики расселись по сторонам, а Мэгги вскарабкалась на деревянный ящик, который отец поставил для нее на стуле подле себя.

Фиа раскладывала еду по тарелкам прямо на столе, за которым стряпала, и делала это быстрее и сноровистее любого официанта; она подавала по две тарелки сразу: сначала мужу, потом Фрэнку, дальше мальчикам по старшинству, наконец, Мэгги и последней взяла себе.

– У-у! Студень! – скривился Стюарт, берясь за вилку. – Зачем вы меня назвали вроде этой еды?..

– Знай ешь, – оборвал отец. Большие тарелки полны были доверху: к студню – щедрые порции вареного картофеля, баранина, бобы только сегодня с огорода. Хоть кое-кто и фыркал, и ворчал себе под нос, ребята, включая Стюарта, уплели все дочиста да еще вытерли тарелки хлебом и получили в придачу по нескольку ломтей хлеба с маслом и с джемом из своего крыжовника. Фиа подсела к общему столу, наскоро поела сама, снова поспешила к кухонному столу и разложила по глубоким тарелкам изрядные куски пудинга, очень сладкого и насквозь пропитанного джемом. Все это было тут же залито потоками еще дымящегося заварного крема, и опять она принялась сновать от рабочего стола к обеденному, разнося по две тарелки сразу. И наконец со вздохом села: теперь можно спокойно поесть самой.

– Ой, как вкусно! Джем с кремом! – восторженно закричала Мэгги и стала чертить по лакомству ложкой, так что скоро сквозь желтый крем проступили розовые разводы.

– Да, Мэгги, дочка, ведь сегодня твое рождение, вот мама и приготовила твой любимый пудинг, – с улыбкой сказал отец.

На этот раз никто не ворчал и не жаловался – какой бы ни был пудинг, его уплетали за обе щеки: в семействе Клири все были сластены.

Но хотя они и ели так обильно и сытно, никто не толстел. Не приобреталось ни грамма лишнего веса – все расходовалось в работе либо в игре. Овощи и фрукты съедались потому, что это вкусно, но, если бы не хлеб и картофель, не мясо и горячие мучные пудинги, неоткуда было бы взять силы.

А потом Фиа налила всем чаю из огромного чайника, и еще около часу семья не расходилась: пили чай, читали, разговаривали; Пэдди, попыхивая трубкой, увлеченно читал какую-то книгу, взятую в библиотеке. Боб с головой ушел в другую. Фиа опять и опять подливала всем чаю, младшие строили планы на завтра. Занятия в школе кончились, впереди долгие летние каникулы, мальчики почуяли свободу, и им уже не терпелось приняться за свою долю работы по дому и в огороде. Бобу поручено подкрасить, где надо, стены снаружи; Джеку и Хьюги – держать в порядке поленницу, надворные постройки, помогать с дойкой, Стюарту – пропалывать грядки; по сравнению с ужасами школы все это просто

детская игра. Отец порой поднимал голову от книги и подбавлял к списку еще какое-нибудь дело, но Фиа молчала; Фрэнк устало обмяк на стуле и прихлебывал чай, одну чашку за другой.

Наконец Фиа поманила к себе Мэгги и, когда та взобралась на высокую табуретку, перевязала ей на ночь волосы лоскутками и отправила ее, Стюарта и Хьюги спать; Джек с Бобом упросили дать им еще немного времени и вышли во двор кормить собак; Фрэнк взял с кухонного стола сестрину куклу и стал приклеивать на место волосы. Падрик потянулся, закрыл книгу и положил трубку в большую, отливающую всеми цветами радуги раковину пауа, которая служила ему пепельницей.

– Ну, мать, я пойду лягу.

– Спокойной ночи, Пэдди.

Фиа убрала все с обеденного стола, потом сняла с крюка на стене оцинкованную лохань. Поставила ее напротив Фрэнка, на другом конце кухонного стола, налила горячей воды из тяжелого чугуна, что стоял на огне. От лохани повалил пар, и Фиа подбавила холодной воды из старой жестянки из-под керосина, взяла с проволочной сетки мыло, взбила пену и принялась за посуду: мыла, споласкивала, ставила тарелки ребром.

Фрэнк, не поднимая головы, трудился над куклой, но когда на столе выросла груда вымытых тарелок, он молча встал, взял полотенце и принялся их вытирать. Опять и опять он

переходил от кухонного стола к посудному шкафу, чувствовались давняя привычка и сноровка. То была для них с матерью тайная и небезопасная игра, ибо одним из строжайших правил, установленных в семье властью Пэдди, было четкое распределение обязанностей. Работа по дому – женское дело, и все тут. Никто из мужчин, большой или малый, не должен ничего такого касаться. Но каждый вечер, когда Пэдди отправлялся спать, Фрэнк помогал матери, а Фиа, как настоящая сообщница, нарочно откладывала мытье посуды напоследок, пока не услышит, как в спальне тяжело шлепнутся на пол сброшенные мужем домашние туфли. Раз уж Пэдди их скинул, больше он в кухню не придет.

Фиа ласково посмотрела на сына:

– Не знаю, что бы я без тебя делала, Фрэнк. Только напрасно ты это. Ведь совсем не отдохнешь до утра.

– Пустяки, мам. Невелик труд вытереть тарелки, не помру. А тебе хоть немножко да легче.

– Это моя работа, Фрэнк. Я не жалуюсь.

– Хоть бы нам когда-нибудь разбогатеть, наняла бы ты себе подмогу.

– Вот уж пустые мечты! – Фиа вытерла кухонным полотенцем мыльные распаренные руки и взялась за поясницу, устало перевела дух. Со смутной тревогой посмотрела на сына – всякий рабочий человек недоволен своей долей, но во Фрэнке уж слишком кипит горькая обида на судьбу. – Не заносись, Фрэнк, не воображай о себе лишнего. Такие мысли

не доводят до добра. Мы простые люди, труженики, а значит, никогда не разбогатеем и никакой прислуги в подмогу не заведем. Будь доволен тем, что ты есть и что имеешь. Когда ты так говоришь, это оскорбительно для папы, а он такого не заслуживает. Ты и сам знаешь. Он не пьет, не играет, он ради нас работает как каторжный. Ни гроша заработанного не тратит на себя. Все – для нас.

Сын нетерпеливо передернул крепкими плечами, хмурое лицо стало еще мрачнее и жестче.

– Да что в этом плохого – хотеть от жизни еще чего-то, чтоб не только весь век гнуть спину? Я хочу, чтоб у тебя была в хозяйстве подмога – не понимаю, что тут худого.

– Худо, потому что невозможно! Ты же знаешь, у нас нет денег и нельзя тебе учиться дальше, кончить школу, так чем еще ты сможешь заниматься, если не черной работой? По тому, как ты говоришь, как одет, по твоим рукам сразу видно, что ты просто рабочий человек. Но мозолистые руки не позор. Знаешь, как говорит папа: у кого руки в мозолях, тот человек честный.

Фрэнк молча пожал плечами. Посуду всю убрали; Фиа достала корзинку с шитьем и села в кресло Пэдди у огня, Фрэнк опять склонился над куклой.

– Бедняжка Мэгги! – сказал он вдруг.

– Почему это?

– Да вот сегодня наши сорвиголовы расправлялись с ее куклой, а она только стоит и плачет, будто весь мир рушит-

ся. – Он посмотрел на куклу, волосы снова были на месте. – Агнес! И откуда она такое имя выкопала?

– Наверное, слышала, как я говорила про Агнес Фотискью-Смит.

– Я ей тогда отдал куклу, а она заглянула в куклину голову и чуть не померла со страху. Глаз куклиных испугалась, уж не знаю почему.

– Ей всегда чудится то, чего на самом деле нет.

– Жаль, не хватает денег, надо бы малышам подольше учиться в школе. Они у нас такие смышленые.

– Ох, Фрэнк! Знаешь, если бы да кабы… – устало сказала мать. Провела рукой по глазам, одолевая дрожь, и воткнула иглу в клубок серой шерсти. – Не могу больше. Совсем вымоталась, уже и не вижу толком.

– Иди спать, мам. Я погашу лампы.

– Мне еще надо подбросить дров в печь.

– Я подброшу.

Он встал из-за стола, осторожно уложил изящную фарфоровую куклу на посудный шкаф, за противень, подальше от греха. Впрочем, не стоило беспокоиться, что мальчишки опять на нее покусятся – расправы Фрэнка они боялись больше, чем отцовской кары, потому что крылась в нем какая-то злость. Она никогда не проявлялась при матери и сестре, но всем братьям случалось испытать ее на себе.

Фиа смотрела на сына, и сердце ее сжималось: есть во Фрэнке что-то неистовое, отчаянное, что-то в нем предвещает

беду. Хоть бы он и Пэдди лучше ладили друг с другом! Но вечно между ними споры и раздоры. Быть может, Фрэнк уж чересчур о ней заботится, может быть, уж слишком к ней привязан. Если так, она сама виновата. Но ведь это значит, что он добрый, любящее сердце. Он только хочет, чтобы ей жилось хоть немного легче. И опять она с тоской подумала: «Скорее бы подросла Мэгги, сняла бы с плеч Фрэнка эту заботу».

Фиа взяла со стола маленькую лампу, тотчас опять поставила и пошла через кухню к Фрэнку – он сидел на корточках перед очагом, укладывал дрова на завтра, орудовал заслонкой. На белой коже выше локтей вздувались вены, в руки прекрасной формы, в длинные пальцы въелась уже навеки несмываемая грязь. Мать несмело протянула руку, осторожно, едва касаясь, отвела со лба сына и пригладила прямые черные волосы; трудно было бы ждать от нее ласки нежнее.

– Спокойной ночи, Фрэнк, спасибо тебе.

Выйдя из кухни, Фиа неслышно пошла по дому, и от ее лампы по стенам кружили и метались тени.

Первая спальня отведена была Фрэнку с Бобом; мать бесшумно отворила дверь, подняла повыше лампу, свет упал на широкую кровать в углу. Боб лежал на спине, с открытым ртом, и весь вздрагивал, подергивался, как спящая собака; Фиа подошла, повернула его на правый бок, пока им еще не окончательно завладел дурной сон, и постояла минуту-другую, глядя на него. Вылитый отец!

В соседней комнате Хьюги и Джек будто в один узел связались, не разберешь, кто где. Несносные мальчишки! Озорники ужасные, но ничуть не злые. Напрасно она пыталась отодвинуть их друг от дружки, хоть как-то расправить одеяло и простыню – две курчавые рыжие головы упрямо прижимались одна к другой. Фиа тихонько вздохнула и сдалась. Непостижимо, как они умудряются вскакивать по утрам свеженькими после такого сна, но им это, видно, только на пользу.

Комнатка, где спали Мэгги и Стюарт, была унылая, безрадостная, совсем не для таких малышей: стены выкрашены тусклой коричневой краской, на полу коричневый линолеум, на стенах ни одной картинки. В точности как в других спальнях.

Стюарт перевернулся в кровати так, что только обтянутая ночной рубашкой попка торчала наружу, там, где должна бы лежать голова; весь, по обыкновению, скорчился, лоб прижат к коленкам, непонятно, как он только не задохнется. Фиа тихонько просунула руку, тронула простыню и нахмурилась. Опять мокро! Что ж, с этим придется подождать до утра, а тогда, конечно, и подушка тоже будет мокрая. Он всегда так, перевернется и потом опять обмочится. Что ж, на пятерых мальчишек только один такой – еще не страшно.

Мэгги свернулась клубочком, большой палец во рту, волосы, все в лоскутных бантиках, разметались. Единственная дочка. Фиа мельком посмотрела на нее и повернулась к две-

ри; в Мэгги нет ничего таинственного, она всего лишь девочка. Известно заранее, какая ее ждет участь, не стоит ни завидовать, ни жалеть. Мальчики – другое дело, каждый – чудо, мужчина, в силу некоей алхимии возникший из ее женского естества. Нелегко это, когда некому помочь тебе по дому, но мальчики того стоят. В своем кругу Падрика Клири уважают больше всего из-за сыновей. Есть у человека сыновья – значит, он воистину настоящий человек и настоящий мужчина.

Она тихо затворила дверь своей спальни и поставила лампу на комод. Проворные пальцы легко пробежали сверху вниз по десяткам крохотных пуговок, от высокого ворота до самых бедер, стянули рукав, другой. Высвободив руки, она старательно прижала лиф платья к груди и, вся изгибаясь, изворачиваясь, облачилась в длинную, до пят, фланелевую ночную рубашку. Только тогда, благопристойно укрытая, она окончательно сбросила платье, панталоны и нетуго зашнурованный корсет. Рассыпались по плечам скрученные днем в тугой узел золотистые волосы, шпильки улеглись в раковину пауа на комоде. Но и этим прекрасным, густым, блестящим, прямым, как лучи, волосам не дано было свободы – Фиа закинула руки за голову и принялась проворно заплетать косу. Потом, бессознательно затаив дыхание, обернулась к постели; но Пэдди уже спал, и у нее вырвался вздох облегчения. Не то чтобы ей бывало неприятно, когда Пэдди в настроении, – как любовник он и робок, и нежен, и внимателен. Но пока Мэгги не стала постарше года на три, было

бы слишком тяжело завести еще малышей.

2

По воскресеньям семейство Клири отправлялось в церковь, только Мэгги должна была сидеть дома с кем-нибудь из старших мальчиков, и она с нетерпением ждала того дня, когда подрастет и ее тоже станут брать в церковь. Падрик Клири полагал, что маленьким детям нечего делать в чужом доме, пусть даже и в доме Божием. Поступит Мэгги в школу, научится сидеть тихо – тогда можно будет ее и в церковь пустить. Но не раньше. И вот каждое воскресное утро она стояла у калитки, под кустом утесника, и горестно смотрела, как все семейство усаживается в дряхлую колымагу, а тот из братьев, кому поручено присматривать за ней, Мэгги, прикидывается, будто ему одно удовольствие пропустить мессу. Из всех Клири только Фрэнк и вправду наслаждался, когда мог побыть подальше от остальных.

Религия занимала в жизни Пэдди совсем особое место. К его женитьбе католическая церковь отнеслась не слишком одобрительно, потому что Фиа была протестанткой; ради Пэдди она оставила свою веру, но не перешла в мужнину. Трудно сказать почему, быть может, дело в том, что сама она была из Армстронгов, старинного рода первопоселенцев, издавна неукоснительно исповедовавших англиканскую веру, Пэдди же только-только приехал из Ирландии, да притом не

из английской ее части, и за душой ни гроша. Армстронги жили в Новой Зеландии задолго до прибытия первых официальных «колонистов» и потому принадлежали к местной аристократии. С их точки зрения замужество Фионы было не что иное, как постыдный «mesalliance»[1].

Основателем новозеландского клана был Родерик Армстронг, и основал он его прелюбопытным образом.

Все началось событием, которое отозвалось в Англии восемнадцатого века множеством непредвиденных последствий: американской войной за независимость. До 1776 года британские корабли ежегодно переправляли в Виргинию и Северную и Южную Каролину свыше тысячи мелких преступников, запроданных по контракту на долгосрочные работы, что, по сути, было ничуть не лучше рабства. Британское правосудие тех времен было сурово и непреклонно: убийцы, поджигатели, загадочные преступники, туманно именуемые «виновные в ложном цыганстве», и воры, укравшие на сумму свыше шиллинга, карались смертью на виселице. Виновного в преступлениях помельче ждала пожизненная ссылка в Америку.

Но с 1776 года доступ в Америку был закрыт, и перед Англией встала нелегкая задача: число осужденных день ото дня множится, а девать их некуда. Все узилища переполнены, «излишки» набиты битком в плавучие тюрьмы, гниющие на якорях в устьях рек. Надо было что-то предпринять – ну

---

[1] Неравный брак, здесь – брак ниже ее достоинства *(фр.)*.

и предприняли. С великой неохотой, ибо пришлось потратить на это несколько тысяч фунтов, капитану Артуру Филипу велено было отплыть к Великой Южной Земле. Шел 1787 год. На одиннадцати судах капитана Филипа отправились в путь свыше тысячи осужденных да еще матросы, офицеры и отряд морской пехоты. То отнюдь не было овеянное славой странствие в поисках свободы. В конце января 1788 года, через восемь месяцев после отплытия из Англии, флот прибыл в залив Ботани-Бей. Его Сумасшедшее Величество Георг Третий основал новую свалку для своих каторжников – колонию Новый Южный Уэльс.

В 1801 году, когда ему только-только минуло двадцать, Родерик Армстронг был приговорен к пожизненной ссылке. Последующие поколения Армстронгов уверяли, будто он был из сомерсетских дворян, начисто разоренных американской революцией, и ни в каком преступлении не повинен, однако никто никогда всерьез не пытался проверить родословную знаменитого предка. Они лишь грелись в отраженных лучах его славы и кое-что присочиняли от себя.

Каковы бы ни были его происхождение и положение в Англии, молодой Родерик Армстронг был сущий дьявол. За восемь месяцев невыразимо тяжкого плавания к Новому Южному Уэльсу он обнаружил крайнее упрямство и несговорчивость и нипочем не поддавался смерти, что еще возвысило его в глазах корабельного начальства. Прибыв в 1803 году в Сидней, он повел себя и того несноснее, и его отправили на

остров Норфолк, в тюрьму для неисправимых. С ним невозможно было сладить. Его морили голодом; бросили в карцер – тесный каменный мешок, где ни стать, ни сесть, ни лечь; стегали бичами так, что вся спина превращалась в кровавое месиво; приковали цепями к скале в море – пускай захлебывается. А он смеялся в лицо палачам – жалкий скелет, обтянутый прозрачной кожей и еле прикрытый грязным тряпьем, во рту у него не уцелело ни одного зуба, тело сплошь в рубцах и шрамах, но весь он был – вызов, ненависть, и, казалось, ничем это пламя не угасить. Каждый свой день он начинал с того, что приказывал себе не умирать – и кончал торжествующим смехом оттого, что все еще жив.

В 1810 году его с партией кандальников отправили на Ван-Дименову Землю пробивать дорогу в твердом, как железо, песчанике в пустыне за Хобартом. Улучив минуту, Родерик своей киркой пробил дыру в груди начальника конвоя; он и еще десять каторжников разделались с пятью остальными конвоирами, медленно, по ломтику, срезая у них мясо с костей – все пятеро изошли криком и умерли в страшных мучениях. Ведь и ссыльные, и их стражи были уже не люди, а сущее зверье, дикари, в чьих чувствах не осталось ничего человеческого. Родерик Армстронг просто не мог удариться в бега, оставив своих мучителей на свободе или предав скорой смерти, так же как не мог он примириться с участью каторжника.

Поддерживая силы ромом, хлебом и вяленым мясом, что

нашлось у убитых солдат, одиннадцать беглецов под ледяным дождем одолели долгие мили лесной чащи и вышли к гавани китобоев – Хобарту; здесь они украли баркас и без парусов, без воды и пищи решили пересечь Тасманово море. Когда баркас вынесло на дикий западный берег Южного острова Новой Зеландии, на борту оставались в живых только Родерик Армстронг и еще двое. Он никогда не рассказывал об этом невообразимом плавании, но люди перешептывались, будто эти трое потому и выжили, что убили и съели своих более слабых спутников.

Было все это ровно через девять лет после высылки Родерика Армстронга из Англии. Он был еще молод, но выглядел на все шестьдесят. К 1840 году, когда в Новой Зеландии появились первые поселенцы, чей приезд был официально разрешен, Армстронг уже отхватил отличные земли в округе Кентербери на Южном острове, взял себе «жену» из племени маори и стал отцом тринадцати красавцев отпрысков, наполовину полинезийцев. А к 1860 году Армстронги уже принадлежали к новозеландской аристократии, сыновей отправляли в Англию в самые привилегированные учебные заведения и хитроумием и стяжательством пренаглядно подтвердили, что они и впрямь потомки личности незаурядной и опасной. Внук Родерика Джеймс в 1880 году стал отцом Фионы – единственной дочери среди его пятнадцати детей.

Если Фионе и недоставало суровых протестантских обрядов, к которым она привыкла в детстве, она ни разу ни сло-

вом об этом не обмолвилась. Она вполне терпимо относилась к вере мужа, по воскресеньям ходила с ним слушать мессу, следила за тем, чтобы дети росли католиками. Но сама в католическую веру так и не обратилась, а потому каких-то оттенков не хватало: не читались молитвы перед едой и перед сном, будни не были проникнуты благочестием.

Если не считать единственной поездки в Уэхайн полтора года назад, Мэгги никогда еще не отходила от дома дальше коровника и кузницы в овражке. Утром первого школьного дня она так разволновалась, что после завтрака ее стошнило – пришлось поскорее отнести ее в спальню, вымыть и переодеть. Прощай, чудесная новенькая синяя матроска с широким белым воротником, пришлось опять влезть в противное платье из коричневой фланели с таким тесным высоким воротом на пуговицах, что Мэгги всегда казалось: вот-вот он ее задушит.

– И ради Бога, Мэгги, в другой раз, когда тебя затошнит, скажи сразу! Не сиди и не жди, пока будет поздно и мне, ко всему, придется еще прибирать и чистить за тобой. А теперь поторапливайся, если опоздаешь к звонку, сестра Агата уж наверно тебя побьет. Веди себя хорошо и слушайся братьев.

Когда Фиа наконец уложила в старую школьную сумку завтрак Мэгги – хлеб с джемом – и легонько вытолкала ее за дверь, Боб, Джек, Хьюги и Стюарт уже подпрыгивали у ворот от нетерпения.

– Пошли, Мэгги, опаздываем! – крикнул Боб, и они зашагали по дороге.

Мэгги, еле поспевая, кинулась за братьями.

Было рано, начало восьмого, а утреннее солнце давно уже пригревало; только в самых тенистых местах на траве еще не высохла роса. На Уэхайн вела проселочная дорога, две глубокие колеи – полосы темно-красной глины – разделяла широкая лента ярко-зеленой травы. А по обе стороны в высокой траве цвели во множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции, и аккуратные дощатые заборы предупреждали, что посторонним сюда доступа нет.

Боб всегда шел в школу, точно канатоходец, по верху заборов с правой стороны и кожаную сумку с книгами при этом нес не через плечо, а на голове. Левые заборы принадлежали Джеку, и младшим Клири досталась сама дорога. Из овражка, где стояла кузница, они взобрались по высокому, крутому косогору, где Робертсонова дорога соединялась с Уэхайнской, и приостановились перевести дух; пять ярко-рыжих голов вспыхнули на фоне голубого неба в пушистых белых облачках. Теперь – лучшая часть пути, под гору; они взялись за руки и пустились вприпрыжку с вершины холма, она быстро скрылась позади, в зарослях цветов… Жаль, некогда прокрасться под забором мистера Чепмена и скатиться до самого низа, будто пущенные с горы камни.

От дома Клири до Уэхайна было пять миль, и когда Мэгги увидела вдали телеграфные столбы, у нее дрожали коленки

и совсем сползли носки. Прислушиваясь – не звонит ли уже школьный колокол, Боб нетерпеливо поглядывал на сестренку – еле тащится, порой поддергивает штанишки и тяжко вздыхает. Розовое лицо ее в рамке густых локонов как-то странно побледнело. Боб вздохнул, сунул сумку с книгами Джеку и вытер ладони о штаны.

– Поди сюда, Мэгги, я тебя дотащу на закорках, – проворчал он и свирепо глянул на братьев – пусть не воображают, будто он разнюнился из-за девчонки.

Мэгги вскарабкалась ему на спину, подтянулась повыше, обхватила его ногами, блаженно прислонилась головой к костлявому плечу брата. Теперь можно с удобством поглядеть на Уэхайн.

Смотреть-то было не на что. Уэхайн, беспорядочно раскинувшийся по обе стороны дороги с полосой гудрона посередине, в сущности, был просто большой деревней. Самым большим домом тут была гостиница – двухэтажная, с навесом от солнца – он тянулся над дорожкой, ведущей к крыльцу, и дальше, на столбах, вдоль сточной канавы. Следующим по величине был универсальный магазин, он тоже мог похвастать навесом для защиты от солнца, да еще под заваленными всякой всячиной витринами стояли две длинные деревянные скамьи, чтобы прохожие могли передохнуть. Перед зданием муниципалитета красовался флагшток, на ветру полоскался трепаный, линялый государственный флаг. Город еще не обзавелся гаражом, экипажи на бензиновом ходу

были наперечет, зато по соседству с муниципалитетом имелась кузница и за ней – конюшня, а бензоколонка торчала рядом с колодой, из которой поили лошадей. Лишь один-единственный дом – какая-то лавка – и правда бросался в глаза: престранный, ярко-синий, очень неанглийского вида; все остальные выкрашены были в скромный коричневый цвет. Бок о бок стояли англиканская церковь и городская школа, как раз напротив – церковь монастыря Пресвятого Сердца и монастырская школа.

Мальчики Клири поспешно миновали универсальный магазин, и тут зазвонил колокол монастырской школы, и тотчас отозвался звоном погуще колокол на столбе перед городской школой напротив. Боб пустился рысцой, и они вбежали в посыпанный песком двор, там с полсотни детей уже выстраивались в ряд перед монахиней очень маленького роста, у нее в руках была гибкая трость выше ее самой. Не дожидаясь ее распоряжения, Боб отвел своих в сторону от общего строя и остановился, не сводя глаз с трости.

Не сразу можно было заметить, что здание монастыря двухэтажное, потому что стояло оно за оградой, поодаль от дороги, в глубине просторного двора. Четыре монахини ордена милосердных сестер жили в верхнем этаже, одну из них никогда никто не видел – она исполняла должность экономки; три большие комнаты внизу служили классами. По всем четырем сторонам здания снаружи шла широкая крытая веранда, в дождь ученикам разрешалось чинно сидеть здесь во

время перемены и завтрака, но в погожие дни никто из детей не смел сюда сунуться. Несколько ветвистых смоковниц давали кое-какую тень просторному двору перед школой, а позади нее пологий спуск вел к поросшему травой кругу, вежливо именуемому крикетной площадкой, – здесь и правда частенько играли в крикет.

Боб и его братья застыли на месте, не обращая внимания на приглушенные смешки остальных, а те вереницей двинулись в дом под звуки гимна «Вера наших отцов», который бренчала на плохоньком школьном фортепьяно сестра Кэтрин. Лишь когда вся вереница скрылась в дверях, сестра Агата, все время стоявшая точно суровое изваяние, повернулась и, величественно шурша по песку широчайшим саржевым подолом, прошествовала к детям Клири.

Мэгги уставилась на нее во все глаза – она никогда еще не видела монахини. И правда, необычайное зрелище, живого – только три красных пятна: лицо и руки сестры Агаты, а остальное – ослепительно белый крахмальный чепец и нагрудник, и черным-черны складки необъятного одеяния, да с железной пряжки – кольца, скрепляющего на плотной талии широкий кожаный пояс, свисают тяжелые деревянные четки. Кожа сестры Агаты навек побагровела от чрезмерного пристрастия к чистоте и от острых как бритва краев чепца, стискивающих голову спереди, и то, что даже трудно назвать лицом, словно существовало само по себе, никак не связанное с телом: на двойном подбородке, немилосердно сжатом

тисками того же головного убора, там и сям пучками торчали волосы. А губ вовсе не видно, озабоченно сжаты в жесткую черту – нелегкая задача быть невестой Христовой в такой вот глуши, в далекой колонии, где времена года – и те шиворот-навыворот, если дала монашеский обет полвека назад в тихом аббатстве в милом Килларни, на юге милой Ирландии. Стальная оправа круглых очков безжалостно выдавила на переносье сестры Агаты две ярко-красные отметины, из-за стекол подозрительно высматривали блекло-голубые злые глазки.

– Ну, Роберт Клири, почему вы опоздали? – отрывисто рявкнула сестра Агата, в голосе ее не осталось и следа былой ирландской мягкости.

– Простите, сестра Агата, – без всякого выражения сказал Боб, все еще не сводя голубовато-зеленых глаз с тонкой, подрагивающей в воздухе трости.

– Почему вы опоздали? – повторила монахиня.

– Простите, сестра Агата.

– Начинается новый учебный год, Роберт Клири, и я полагаю, что хотя бы сегодня ты мог постараться прийти вовремя.

Мэгги бросило в дрожь, но она собрала все свое мужество.

– Ой, извините, это все из-за меня! – пропищала она.

Взгляд блеклых голубых глаз передвинулся с Боба на Мэгги и пронизал ее насквозь; в простоте душевной девочка не подозревала, что нарушила первое правило в нескончаемой войне не на жизнь, а на смерть между учителями и ученика-

ми: пока тебя не спросят, молчи. Боб поспешно лягнул ее по ноге, и Мэгги растерянно покосилась на него.

– Почему из-за тебя? – спросила монахиня.

Никогда еще с Мэгги не говорили так сурово.

– Ну, меня за столом стошнило, даже до штанишек дошло, и маме пришлось меня вымыть и переодеть, и я всех задержала, – простодушно объяснила Мэгги.

Ничто не дрогнуло в лице сестры Агаты, только рот стал совсем как сжатая до отказа пружина да кончик трости немного опустился.

– Это еще что? – отрывисто спросила она Боба, словно перед ней появилось какое-то неведомое и до крайности отвратительное насекомое.

– Извините, сестра Агата, это моя сестренка Мэгенн.

– Так объяснишь ей на будущее, Роберт, что есть вещи, о которых воспитанные люди, настоящие леди и джентльмены, никогда не упоминают. Никогда, ни при каких обстоятельствах мы не называем предметы нашей нижней одежды, в приличных семьях детям это правило внушают с колыбели. Протяните руки, вы все.

– Но ведь это из-за меня! – горестно воскликнула Мэгги и протянула руки ладонями вверх – она тысячу раз видела дома, как это изображали братья.

– Молчать! – прошипела, обернувшись к ней, сестра Агата. – Мне совершенно неинтересно, кто из вас виноват. Опоздали все, значит, все заслуживают наказания. Шесть

ударов, – с холодным удовлетворением произнесла она приговор.

В ужасе смотрела Мэгги, как Боб протянул недрогнувшие руки и трость так быстро, что не уследить глазами, опять и опять со свистом опускается на раскрытые ладони, на самую чувствительную мякоть. После первого же удара на ладони вспыхнула багровая полоса, следующий удар пришелся под самыми пальцами, там еще больнее, и третий – по кончикам пальцев, тут кожа самая тонкая и нежная, разве что на губах тоньше. Сестра Агата целилась метко. Еще три удара достались другой руке, потом сестра Агата занялась следующим на очереди – Джеком. Боб сильно побледнел, но ни разу не охнул, не шевельнулся, так же вытерпели наказание и Джек, и даже тихий, хрупкий Стюарт.

Потом трость поднялась над ладонями Мэгги – и она невольно закрыла глаза, чтоб не видеть, как опустится это орудие пытки. Но боль была как взрыв, будто огнем прожгло ладонь до самых костей, отдалось выше, выше, дошло до плеча, и тут обрушился новый удар, а третий, по кончикам пальцев, нестерпимой мукой пронзил до самого сердца. Мэгги изо всей силы прикусила нижнюю губу, от стыда и гордости она не могла заплакать, от гнева, от возмущения такой явной несправедливостью не смела открыть глаза и посмотреть на монахиню; урок был усвоен прочно, хотя суть его была отнюдь не в том, чему хотела обучить сестра Агата.

Только к большой перемене боль в руках утихла. Все утро

Мэгги провела как в тумане: испуганная, растерянная, она совершенно не понимала, что говорится и делается вокруг. В классе для самых младших ее толкнули на парту в последнем ряду, и до безрадостной перемены, отведенной на завтрак, она даже не заметила, кто ее соседка по парте; в перемену она забилась в дальний угол двора, спряталась за спины Боба и Джека. Только строгий приказ Боба заставил ее приняться за хлеб с джемом, который приготовила ей Фиа.

Когда снова зазвонил колокол на уроки и Мэгги нашла свое место в веренице учеников, туман перед глазами уже немного рассеялся, и она стала замечать окружающее. Обида на позорное наказание ничуть не смягчилась, но Мэгги высоко держала голову и делала вид, будто ее вовсе не касается, что там шепчут девчонки и почему подталкивают друг друга в бок.

Сестра Агата со своей тростью стояла перед рядами учеников; сестра Диклен сновала то вправо, то влево позади них; сестра Кэтрин села за фортепьяно – оно стояло в классе младших, у самой двери, – и в подчеркнуто маршевом ритме заиграла «Вперед, Христово воинство». Это был, в сущности, протестантский гимн, но война сделала его и гимном католиков тоже. Милые детки маршируют под его звуки и впрямь как крохотные солдатики, с гордостью подумала сестра Кэтрин.

Из этих трех монахинь сестра Диклен была точной копией сестры Агаты, только на пятнадцать лет моложе, но в сестре

Кэтрин еще оставалось что-то человеческое. Она, разумеется, была ирландка, всего лишь тридцати лет с хвостиком, и прежний пыл в ней не совсем еще угас; ей все еще радостно было учить детей, и в обращенных к ней восторженных рожицах ей по-прежнему виделось нетленным подобие Христово. Но она вела старший класс, ибо сестра Агата полагала, что старшие уже достаточно биты, чтобы вести себя прилично даже при молодой и мягкосердечной наставнице. Сама сестра Агата обучала младших, дабы по-своему вылепить из младенческой глины послушные умы и сердца, а средние классы были предоставлены сестре Диклен.

Надежно укрывшись в последнем ряду, Мэгги решилась посмотреть на соседку по парте. Пугливо покосилась и увидела широкую беззубую улыбку и круглые черные глазищи на смуглом и словно бы чуть лоснящемся лице. Восхитительное лицо – Мэгги-то привыкла к светлой коже и к веснушкам, ведь даже у Фрэнка, черноволосого и черноглазого, кожа совсем белая, и она быстро решила, что ее соседка – самая красивая девочка на свете.

– Как тебя зовут? – краешком губ шепнула смуглая красавица; она грызла карандаш и сплевывала кусочки дерева в дырку, где полагалось бы стоять чернильнице.

– Мэгги Клири, – прошептала в ответ Мэгги.

– Ты, там! – раздался сердитый окрик.

Мэгги подскочила, недоуменно огляделась. Послышались приглушенный стук – все двадцать детей разом отложили

карандаши – и негромкий шорох отодвигаемых в сторонку драгоценных листков бумаги, чтобы можно было потихоньку облокотиться на парту. У Мэгги душа ушла в пятки – все смотрят на нее! По проходу между партами быстрым шагом приближалась сестра Агата; Мэгги охватил несказанный ужас; если б было куда, она бросилась бы бежать со всех ног. Но позади – перегородка, за которой помещается средний класс, по обе стороны – тесные ряды парт, а впереди сестра Агата. Мэгги побледнела, задохнулась от страха, руки ее на крышке парты то сжимались, то разжимались, она подняла на монахиню огромные, в пол-лица, перепуганные глаза.

– Ты разговаривала, Мэгенн Клири.

– Да, сестра Агата.

– Что же ты сказала?

– Как меня зовут, сестра Агата.

– Как тебя зовут! – язвительно повторила сестра Агата и обвела взглядом других детей, будто уверенная, что и они разделяют ее презрение. – Не правда ли, дети, какая честь для нас? В нашей школе появилась еще одна Клири, и ей не терпится всем сообщить, как ее зовут. – Она опять повернулась к Мэгги. – Встань, когда я с тобой говорю, невежа! Изволь протянуть руки.

Мэгги кое-как поднялась, длинные локоны упали на лицо и опять отскочили. Она отчаянно стиснула руки и все сжимала их, но сестра Агата истуканом стояла над ней и ждала, ждала, ждала… Наконец Мэгги заставила себя протянуть

руки, но под взмахом трости задохнулась от ужаса и отдернула их. Сестра Агата вцепилась в густые волосы у Мэгги на макушке и подтащила ее к себе, лицом чуть не вплотную к страшным очкам.

– Протяни руки, Мэгенн Клири.

Это было сказано вежливо, холодно, беспощадно.

Мэгги раскрыла рот, и ее стошнило прямо на одеяние сестры Агаты. Все дети, сколько их было в классе, испуганно ахнули, а сестра Агата стояла багровая от ярости и изумления, и отвратительная жидкость стекала по складкам черной ткани на пол. И вот трость пошла лупить Мэгги по чему попало, а девочка скорчилась в углу, вскинув руки, закрывая лицо, и ее все еще тошнило. Наконец сестра Агата выбилась из сил, рука отказывалась поднять трость, и тогда она показала на дверь.

– Иди домой, маленькая дрянь, филистимлянка, – сказала она, круто повернулась и ушла в класс сестры Диклен.

Вне себя от боли и ужаса, Мэгги оглянулась на Стюарта; он кивнул – мол, уходи, раз тебе велено, в добрых зеленоватых глазах его были жалость и понимание. Мэгги вытерла рот платком, спотыкаясь, побрела к двери и вышла во двор. До конца занятий оставалось еще два часа; она понуро плелась по улице, нечего было надеяться, что братья ее нагонят, и она натерпелась такого страху, что не могла сообразить, где бы их подождать. Придется самой дойти до дому и самой признаться во всем маме.

* * *

Шатаясь, через силу Фиа вытащила на заднее крыльцо корзину, полную только что выстиранного белья, и едва не споткнулась о Мэгги. Девочка сидела на верхней ступеньке, уронив голову в колени, ярко-рыжие локоны на концах слиплись, платье спереди все в пятнах. Фиа опустила непосильную ношу, со вздохом отвела прядь волос, упавшую на глаза.

– Ну, что случилось? – устало спросила она.

– Меня стошнило на сестру Агату.

– О Господи! – Фиа взялась руками за ноющую поясницу.

– И еще меня побили, – прошептала Мэгги, в глазах ее стояли непролитые слезы.

– Весело, что и говорить. – Фиа подняла тяжелую корзину, с трудом выпрямилась. – Ума не приложу, как с тобой быть, Мэгги. Придется подождать, посмотрим, что скажет папа.

И она пошла через двор к веревкам, где уже моталась на ветру половина выстиранного белья.

Мэгги уныло потерла глаза ладонями, посмотрела вслед матери, потом встала и поплелась по тропинке вниз, к кузнице.

Когда она стала на пороге, Фрэнк только что подковал гнедую кобылу мистера Робертсона и заводил ее в стойло. Он обернулся, увидел сестру, и его разом захлестнули воспоминания о всех муках, которых он сам когда-то натерпелся в

школе. Мэгги еще совсем малышка, такая пухленькая и такая милая чистая душа, но живой огонек у нее в глазах грубо погасили, и в них затаилось такое… Убить бы за это сестру Агату! Да-да, убить, стиснуть ее двойной подбородок и придушить… Инструменты полетели на пол, кожаный фартук – в сторону, Фрэнк кинулся к сестренке.

– Что случилось, кроха? – спросил он, низко наклонился и заглянул ей в лицо.

От девочки противно пахло рвотой, но он совладал с собой и не отвернулся.

– Ой, ой, Ф-ф-фрэнк! – всхлипнула несчастная Мэгги. Лицо ее скривилось, и, наконец, будто прорвав плотину, хлынули слезы. Она обхватила руками шею Фрэнка, изо всех сил прижалась к нему и заплакала – беззвучно, мучительно зарыдала, так странно плакали все дети Клири, едва выходили из младенческого возраста. На эту боль тяжко смотреть, и тут не поможешь ласковыми словами и поцелуями.

Когда Мэгги затихла, Фрэнк взял ее на руки и отнес на кучу душистого сена возле гнедой кобылы Робертсона; они сидели вдвоем, позабыв обо всем на свете, а мягкие лошадиные губы подбирали сено совсем рядом; Мэгги прижалась головой к обнаженной гладкой груди брата, и локоны ее разлетались, когда лошадь раздувала ноздри и громко фыркала от удовольствия.

– Почему она побила нас всех, Фрэнк? – спросила Мэгги. – Я ведь ей сказала, что мы все из-за меня опоздали.

Фрэнк уже притерпелся к запаху; протянул руку, рассеянно погладил кобылу по чересчур любопытной морде и легонько оттолкнул ее.

– Мы – бедные, Мэгги, в этом главная причина. Монахини всегда ненавидят бедных учеников. Вот походишь еще денек-другой в эту паршивую школу и сама увидишь: сестра Агата не только к нам, Клири, придирается, и к Маршаллам тоже, и к Макдональдам. Все мы бедные. А были бы богатые, приезжали бы в школу в большой карете, как О'Брайены, так монашки нам бы в ножки кланялись. Но мы ж не можем пожертвовать церкви орган, или шитый золотом покров на алтарь, или новую лошадь и коляску для монахинь. Чего ж на нас глядеть. Как хотят, так с нами и расправляются. Помню, один раз сестра Агата до того на меня озлилась – стала орать: «Да заплачешь ты наконец, Фрэнсис Клири? Закричи, доставь мне такое удовольствие! Взвой хоть раз, и я не стану бить тебя так сильно и так часто!» Вот тебе и еще причина, почему она нас ненавидит, тут Маршаллам и Макдональдам до нас далеко. Из нас, Клири, ей слезы не выбить. Она думает, мы станем лизать ей пятки. Так вот, я ребятам сказал, что я с ними сделаю, если кто из них захнычет, когда его бьют, и ты тоже запомни, Мэгги. Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. Ты сегодня плакала?

– Нет, Фрэнк.

Мэгги зевнула, веки сами закрылись, большой палец потянулся ко рту и не сразу попал куда надо. Фрэнк уложил

сестренку на сено и, улыбаясь и тихонько напевая, вернулся к наковальне.

Мэгги еще спала, когда вошел Пэдди. Руки у него были по локоть в грязи – сегодня он убирал навоз на скотном дворе мистера Джермена, – широкополая шляпа нахлобучена до бровей. Он окинул взглядом Фрэнка, тот ковал тележную ось, над головой его вихрем кружились искры; потом Пэдди посмотрел на дочь – она спала, свернувшись клубочком на куче сена, и гнедая кобыла Робертсона свесила голову над спящим ее лицом.

– Так я и думал, что она здесь, – сказал Пэдди, отбросил хлыст для верховой езды и повел свою старуху чалую в глубь сарая, к стойлу.

Фрэнк коротко кивнул, вскинул на отца сумрачный взгляд, в котором Пэдди всегда, к немалой своей досаде, читал какое-то сомнение и неуверенность, и опять занялся раскаленной добела осью; обнаженная спина его блестела от пота.

Пэдди расседлал чалую, завел в стойло, налил ей воды, потом приготовил корм – смешал овса с отрубями и плеснул туда же воды. Чалая тихонько благодарно заржала, когда он наполнил ее кормушку, и проводила его глазами, а Пэдди, на ходу стаскивая с себя рубаху, прошел к большому корыту у входа в кузницу. Вымыл руки, лицо, ополоснулся до пояса, при этом намокли и волосы, и штаны. Растираясь досуха куском старой мешковины, недоуменно посмотрел на сына.

– Мама сказала, Мэгги в школе наказали и отправили домой. Не знаешь толком, что там стряслось?

Фрэнк отложил остывшую ось.

– Бедную дурашку стошнило прямо на сестру Агату.

Пэдди уставился на дальнюю стену, торопливо согнал с лица усмешку и тогда лишь как ни в чем не бывало кивнул на Мэгги:

– Уж так разволновалась, что поступает в школу, а?

– Не знаю. Ее еще утром стошнило, потому они все задержались и к звонку опоздали. Всем досталось по шесть ударов, и Мэгги ужасно расстроилась – она-то считала, что ее одну должны наказать. А после завтрака сестра Агата опять на нее накинулась, и нашу Мэгги вывернуло прямо на ее чистый черный подол.

– И дальше что?

– Сестра Агата чуть трость об нее не обломала и отправила домой.

– Ну, наказана и хватит, подбавлять не стану. Я наших монахинь очень уважаю, и не нам их судить, а только хотел бы я, чтобы они пореже хватались за палку. Оно, конечно, приходится им вбивать науки в наши тупые ирландские головы, но, как ни говори, кроха Мэгги нынче только первый раз пошла в школу.

Фрэнк смотрел на отца во все глаза. Никогда еще Пэдди не говорил со старшим сыном как со взрослым и равным.

От изумления Фрэнк даже позабыл свою вечную обиду:

так вот оно что, хоть Пэдди всегда гордится и хвастает сыновьями, но Мэгги он любит еще больше… Во Фрэнке всколыхнулось доброе чувство к отцу, и он улыбнулся без обычного недоверия.

– Она у нас малышка первый сорт, правда?

Пэдди рассеянно кивнул, он все еще не отрываясь смотрел на дочь. Лошадь шумно вздохнула, фыркнула; Мэгги зашевелилась, повернулась и открыла глаза. Увидела рядом с Фрэнком отца, побледнела от испуга и порывисто села.

– Что, Мэгги, дочка, нелегкий у тебя денек выдался?

Пэдди шагнул к ней, подхватил на руки и чуть не ахнул от резкого запаха. Но только дернул плечом и крепче прижал к себе девочку.

– Меня побили, папочка, – призналась она.

– Что ж, насколько я знаю сестру Агату, это не в последний раз, – засмеялся Пэдди и усадил дочь к себе на плечо. – Пойдем-ка поглядим, наверное, у мамы найдется в котле горячая вода, надо тебя вымыть. От тебя пахнет похуже, чем на скотном дворе у Джермена.

Фрэнк вышел на порог и провожал глазами две огненно-рыжие головы, пока они не скрылись за изгибом тропы, ведущей в гору, потом обернулся и встретил кроткий взгляд гнедой кобылы.

– Пошли, старуха, отведу тебя домой, – сказал он и взялся за повод.

Приступ рвоты неожиданно принес Мэгги счастье. Сестра Агата продолжала бить ее тростью по рукам, но держалась теперь на безопасном расстоянии, а от этого удары были не так сильны и далеко не так метки.

Смуглая соседка Мэгги по парте оказалась младшей дочерью итальянца – хозяина ярко-синего кафе в Уэхайне. Звали эту девочку Тереза Аннунцио, и она была туповата – как раз настолько, чтобы не привлекать особого внимания сестры Агаты, но не настолько, чтобы стать для сестры Агаты постоянной мишенью. Когда у Терезы выросли новые зубы, она стала настоящей красавицей, Мэгги ее обожала. Каждую перемену они гуляли по двору, обняв друг друга за талию – а это знак, что вы задушевные подруги и никто больше не смеет добиваться вашего расположения. Гуляли и говорили, говорили, говорили.

Однажды на большой перемене Тереза повела Мэгги в отцовское кафе и познакомила со своими родителями, со взрослыми братьями и сестрами. Все они пришли в восторг от этого золотого огонька, так же как Мэгги восхищалась их смуглой красотой, а когда она посмотрела на них серыми глазищами в милых пестрых крапинках, объявили, что она настоящий ангелочек. От матери Мэгги унаследовала какую-то неуловимую аристократичность – все ощущали ее с первого взгляда, ощутило это и семейство Аннунцио. Как и Тереза, они принялись ухаживать за Мэгги, угостили ее хрустящим картофелем, поджаренным в кипящем бараньем сале, и вос-

хитительно вкусной рыбой, без единой косточки, обвалянной в тесте и поджаренной в том же кипящем жиру, только в отдельной проволочной сетке. Мэгги никогда еще не пробовала такой чудесной еды и подумала – хорошо бы тут есть почаще. Но надо еще, чтобы такое удовольствие ей разрешили мать и монахини.

Дома от Мэгги только и слышали: «Тереза сказала», «А знаете, что сделала Тереза?», и наконец Пэдди прикрикнул, что она ему все уши прожужжала своей Терезой.

– Не больно это умно – якшаться с итальяшками, – проворчал он с истинно британским бессознательным недоверием ко всем, у кого темная кожа и кто родом с берегов Средиземного моря. – Итальяшки грязный народ, Мэгги, дочка, они редко моются, – кое-как пояснил он, смешавшись под обиженным и укоризненным взглядом дочери.

Фрэнк, обуреваемый ревностью, поддержал отца. И Мэгги дома стала реже заговаривать о подруге. Но неодобрение домашних не могло помешать этой дружбе, которую расстояние все равно ограничивало стенами школы; а Боб и младшие мальчики только радовались, что сестра поглощена Терезой. Значит, в перемену можно вволю носиться по двору, будто никакой Мэгги тут вовсе и нет.

Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что когда стоит «+», надо сосчитать все цифры вместе, а когда «–» – от того, что написано сверху, от-

нять то, что ниже, и под конец получится меньше, чем было. Она была смышленая и стала бы отличной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались эти сверлящие глаза и сухой старческий голос бросал ей отрывистый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться и уже ничего не соображала. Арифметика давалась ей легко, но, когда надо было вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько будет дважды два. Чтение распахнуло перед ней двери в чудесный, увлекательнейший мир, но, когда сестра Агата велела ей встать и громко прочитать несколько строк, она еле могла выговорить «кошка» и совсем запуталась на слове «мяучит». Казалось, ей навек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Агаты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над ней смеется весь класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата с неизменным ехидством выставляет напоказ, ее старательно исписанные листки неизменно приводит в пример грязи и неряшества. Некоторые ученики из богатых были счастливыми обладателями ластиков, но у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца – послюнив его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что отдирались бумажные катышки и выходила одна грязь. Палец протирал в листке дырки, способ этот строго-настрого запрещался, но Мэгги с отчаяния готова была на все, лишь бы избежать громов и молний сестры Агаты.

До появления Мэгги главной мишенью для трости и зло-

го языка сестры Агаты был Стюарт. Но Мэгги оказалась куда лучшей мишенью, потому что были в Стюарте печальное спокойствие и отрешенность, точно в каком-то маленьком святом, и через это не удавалось пробиться даже сестре Агате. А Мэгги хоть и старалась изо всех сил не уронить достоинство рода Клири, как велел ей Фрэнк, но вся дрожала и заливалась краской. Стюарт очень жалел ее, старался хотя бы отчасти отвлечь гнев сестры Агаты на себя. Монахиня мигом разгадывала его хитрости и еще сильнее разъярялась от того, как все эти Клири стоят друг за друга, что мальчишки, что девчонки. Спроси ее кто-нибудь, чем, собственно, ее так возмущают дети Клири, она не сумела бы ответить. Но старой монахине, озлобленной и разочарованной тем, как сложилась ее жизнь, не так-то легко было примириться с нравом этого гордого и чуткого племени.

Самым тяжким грехом Мэгги оказалось, что она – левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на нее, точно Цезарь на галлов.

– Положи грифель, Мэгенн Клири! – прогремела она.

Так началось великое сражение. Мэгги оказалась безнадежной, неизлечимой левшой. Сестра Агата вкладывала ей в правую руку грифель, насильно сгибала пальцы должным образом, а Мэгги недвижимо сидела над грифельной доской, голова у нее шла кругом, и она, хоть убейте, не могла постичь, как заставить эту злосчастную руку исполнять тре-

бования сестры Агаты. Она внутренне деревенела, слепла и глохла; бесполезный придаток – правая рука – так же мало повиновался ее мыслям, как пальцы ног. Рука не слушалась, не сгибалась как надо и тянула корявую строку не по доске, а мимо и, точно парализованная, роняла грифель; и что бы ни делала сестра Агата, эта правая рука не могла вывести букву «А». А потом Мэгги потихоньку перекладывала грифель в левую руку и, неловко заслоня доску локтем, выводила длинный ряд четких, будто отпечатанных прописных «А».

Сестра Агата выиграла сражение. Утром до уроков она стала привязывать левую руку Мэгги к боку и не развязывала до трех часов дня, до последнего звонка. Даже в большую перемену Мэгги приходилось есть свой завтрак, ходить по двору, играть, не шевеля левой рукой. Так продолжалось три месяца, и под конец она научилась писать правой, как того требовали воззрения сестры Агаты, но почерк у нее навсегда остался неважный. Для верности, чтобы она не вспомнила прежнюю привычку, левую руку ей привязывали к боку еще два месяца; а потом сестра Агата собрала учеников на молитву, и вся школа хором возблагодарила Господа, который в премудрости своей направил заблудшую Мэгги на путь истинный. Все чада Господни пользуются правой рукой; левши же – дьяволово семя, тем более если они еще и рыжие.

В тот первый школьный год Мэгги утратила младенческую пухлость и стала очень худенькая, хотя почти не выросла. Она привыкла чуть не до крови обкусывать ногти, и при-

шлось терпеть, когда сестра Агата в наказание подводила ее с вытянутыми руками к каждой парте и всем и каждому в школе показывала, как безобразны ногти, когда их грызут. А ведь половина ребят от пяти до пятнадцати лет грызла ногти не хуже Мэгги.

Фиа достала пузырек с горьким соком алоэ и намазала этой гадостью кончики пальцев Мэгги. Все в доме обязаны были следить, чтобы она не смыла горький сок, а девочки в школе заметили предательские темные пятна, пришлось вытерпеть и это унижение. Сунешь палец в рот – мерзость жуткая, хуже овечьего мыла; в отчаянии Мэгги смочила слюной носовой платок и терла пальцы чуть не до крови, пока не смягчился немного мерзкий вкус. Пэдди взял хлыст – орудие куда более милосердное, чем трость сестры Агаты, и пришлось Мэгги прыгать по всей кухне. Пэдди считал, что детей не следует бить ни по рукам, ни по лицу, ни по ягодицам, а только по ногам. Больно не меньше, чем в любом другом месте, говорил он, а вреда никакого не будет. И однако, наперекор горькому алоэ, насмешкам, сестре Агате и отцову хлысту, Мэгги продолжала грызть ногти.

Дружба с Терезой была великой радостью в ее жизни; если б не это, школа стала бы невыносимой. Все уроки напролет Мэгги только и ждала, когда же настанет перемена и можно будет, обнявшись, сидеть с Терезой в тени смоковницы и говорить, говорить… Тереза рассказывала про свое удивительное итальянское семейство, и про бесчисленных кукол, и

про кукольный сервиз – самый настоящий, в китайском стиле, синий с белым.

Увидев наконец этот сервиз, Мэгги задохнулась от восторга. Тут было сто восемь предметов: крохотные чашки с блюдцами, тарелки, чайник и сахарница, и молочник, и еще ножи, ложки и вилки, малюсенькие, как раз куклам по руке. Терезиным игрушкам счету не было, еще бы: самая младшая, много моложе остальных детей в семье, да притом в семье итальянской, а значит, всеобщая любимица, и отец не жалел денег ей на подарки. Тереза и Мэгги смотрели друг на дружку с какой-то пугливой, почтительной завистью, хотя Тереза вовсе не хотела бы для себя такого сурового кальвинистского воспитания. Напротив, она жалела подругу. Чтобы нельзя было броситься к матери, обнять ее и расцеловать? Бедная Мэгги!

А Мэгги уж никак не могла равнять сияющую добродушием кругленькую Терезину мамашу со своей стройной неулыбчивой матерью, ей и в голову не приходило пожелать: «Вот бы мама меня обняла и поцеловала». Думалось совсем по-другому: «Вот бы Терезина мама обняла меня и поцеловала». Впрочем, объятия и поцелуи рисовались ее воображению куда реже, чем кукольный сервиз в китайском стиле. Такие чудесные вещицы, такие тоненькие, прозрачные, такие красивые! Вот бы иметь такой сервиз и каждый день поить Агнес чаем из темно-синей, с белым, узорчатой чашки на темно-синем, с белым, узорчатом блюдце!

В пятницу, во время службы в старой церкви, украшенной прелестными по наивности маорийскими деревянными скульптурами, с ярко, по-маорийски, расписанными сводами, Мэгги на коленях молила Бога послать ей китайский кукольный сервиз. И вот отец Хейс высоко поднял святые дары, и Дух Святой засиял в цветных стеклах, в лучах из драгоценных каменьев, и осенил своим благословением склоненные головы прихожан. Всех прихожан, кроме Мэгги; она даже не видела его, слишком была занята: вспоминала, сколько же десертных тарелочек в Терезином сервизе. И когда торжественно запел хор маори на галерее над органом, голову Мэгги кружила ослепительная синь, весьма далекая от католической веры и от Полинезии.

Школьный год подходил к концу, настал декабрь, близился день рождения Мэгги, казалось, вот-вот нагрянет настоящее лето, и тут Мэгги узнала, какой дорогой ценой покупается исполнение заветных желаний. Она сидела на высоком табурете у печки, и Фиа, как обычно, причесывала ее перед школой – задача не из легких. Волосы у Мэгги вились от природы – в этом ей, по мнению матери, очень повезло, девочкам с прямыми волосами не так-то легко, когда вырастут, соорудить пышную прическу из жалких вялых прядей. На ночь длинные, почти до колен, вьющиеся волосы туго накручивались на белые полоски, оторванные от старой простыни, и каждое утро Мэгги надо было вскарабкаться на табурет, чтобы мать развязала эти лоскуты и причесала ее.

Старой серебряной щеткой для волос Фиа расчесывала одну за другой длинные, круто вьющиеся пряди и ловко накручивала на указательный палец, так что получалась толстая блестящая колбаска; тогда, осторожно убрав палец, Фиа встряхивала ее, и получался длинный, на зависть тугой локон. Эту операцию приходилось повторить раз двенадцать, потом спереди локоны поднимались на макушку, перевязывались свежевыглаженным бантом из белой тафты – и Мэгги была готова. Другие девочки в школу ходили с косичками, а локоны у них появлялись только в торжественных случаях, но на этот счет мать была непреклонна: Мэгги должна ходить только с локонами, как ни трудно по утрам урвать на это время. Фиа не подозревала, что столь благие намерения не вели к добру, ведь у дочери и без того были самые красивые волосы во всей школе. А неизменные локоны ее подчеркивали это и вызывали косые завистливые взгляды.

Возня с локонами была не очень-то приятна, но Мэгги привыкла, ее так причесывали, сколько она себя помнила. В сильной руке матери щетка продиралась сквозь спутанные волосы, безжалостно тянула и дергала, даже слезы выступали на глазах, и приходилось держаться за табурет обеими руками, чтобы не упасть. Был понедельник последней школьной недели, и только два дня оставалось до дня рождения; Мэгги цеплялась за табурет и мечтала о бело-синем кукольном сервизе, хотя и знала, что мечта эта несбыточная. Был такой сервиз в уэхайнском магазине, и она уже достаточно

разбиралась в ценах, чтобы понимать – ее отцу такое не по карману. Внезапно Фиа так странно охнула, что Мэгги разом очнулась, а муж и сыновья, еще не встававшие из-за стола, удивленно обернулись.

– Боже милостивый! – вырвалось у матери.

Пэдди вскочил, пораженный, никогда еще он не слышал, чтобы Фиа поминала имя Господне всуе. Она застыла со щеткой в руке, с прядью волос дочери в другой, и лицо ее исказилось от ужаса и отвращения. Пэдди и мальчики окружили их обеих; Мэгги хотела было взглянуть, в чем дело, но ее так стукнули щеткой с жесткой щетиной, что на глаза навернулись слезы.

– Смотри! – прошептала мужу Фиа и подняла локон на свет.

В ярком солнечном луче густые волосы засверкали как золото, и Пэдди сначала ничего не разглядел. А потом увидел: по руке Фионы, по тыльной стороне кисти, движется нечто живое. Он перехватил у нее локон и в искрах света разглядел еще немало хлопотливых тварей. Волосы были унизаны крохотными белыми пузырьками, и эти твари деловито нанизывали все новые гроздья. В волосах Мэгги кипела бурная деятельность.

– У нее вши! – сказал Пэдди.

Боб, Джек, Хьюги и Стюарт глянули – и, как отец, отступили на безопасное расстояние; только Фиа и Фрэнк, будто околдованные, стояли и смотрели на волосы Мэгги, а она,

бедняга, съежилась на табурете, недоумевая, в чем же она провинилась. Пэдди тяжело опустился в свое кресло и хмуро уставился на огонь очага.

– Это все та итальянская паршивка, – сказал он наконец и свирепо посмотрел на жену. – Ублюдки паршивые, сволочи, грязные свиньи!

– Пэдди! – Фиа задохнулась от возмущения.

– Извини за ругань, жена, но ведь это надо же, чтоб Мэгги завшивела из-за паршивой итальяшки! – взорвался Пэдди и яростно стукнул себя кулаком по колену. – Прямо хоть сейчас пойти в Уэхайн и разнести в щепки их поганое кафе!

– Мам, а что там такое? – выговорила наконец Мэгги.

– Вот, смотри, грязнуля! – сказала мать и сунула руку под нос Мэгги. – Смотри, что ты подхватила от своей подружки, в волосах полно этой гадости. Что мне теперь с тобой делать?

Мэгги в изумлении посмотрела на существо, которое слепо бродило по обнаженной руке Фионы в поисках более волосатой территории, и горько заплакала.

Не дожидаясь, пока ему скажут, Фрэнк поставил на огонь котел с водой, а Пэдди зашагал по кухне из угла в угол, опять и опять он поглядывал на дочь и все сильнее разъярялся. Наконец подошел к двери заднего крыльца – тут на стене вбиты были в ряд гвозди и крюки, – снял с одного из них хлыст для верховой езды, нахлобучил шляпу.

– Съезжу в Уэхайн, Фиа, скажу этому паршивому итальяшке, пускай со своей жирной рыбой и жареной картош-

кой катится куда подальше! А потом пойду к сестре Агате, ей тоже кое-что выскажу, надо же, держит в школе вшивых ребятишек!

– Осторожнее, Пэдди! – взмолилась Фиа. – Вдруг итальяночка ни при чем? Даже если у нее есть насекомые, может быть, и она, и Мэгги подхватили их от кого-нибудь еще.

– Чепуха! – презрительно фыркнул Пэдди.

Громко стуча башмаками, он сбежал с крыльца, и через минуту с дороги донесся топот копыт – он пустил чалую вскачь.

Фиа вздохнула, беспомощно посмотрела на Фрэнка:

– Хоть бы он из-за всего этого не угодил в тюрьму. Зови мальчиков в дом, Фрэнк. В школу сегодня никто не пойдет.

Она тщательно осмотрела головы сыновей, одного за другим, проверила Фрэнка и заставила его посмотреть волосы у нее самой. Незаметно было, чтобы еще кто-нибудь заразился болезнью несчастной Мэгги, но Фиа рисковать не собиралась. Когда вода в огромном котле для стирки закипела, Фрэнк снял с крюка лохань, налил пополам кипятка и холодной воды. Потом принес из сарая непочатую пятигаллоновую жестянку керосина, кусок простого мыла и принялся за Боба. Одному за другим он смачивал братьям головы водой из лохани, щедро поливал керосином и густо намыливал. Получалась противная жирная каша, от нее щипало глаза и ело кожу; мальчишки вопили, терли глаза кулаками, скребли покрасневшие зудящие головы и грозились жестоко ото-

мстить всем итальяшкам.

Фиа достала из корзинки с шитьем большие ножницы. Опять подошла к Мэгги, которая уже больше часа не смела слезть с табурета, и остановилась, глядя на этот водопад сияющих волос. А потом защелкала ножницами – раз, раз! – и под конец все длинные локоны обратились в блестящие холмики на полу, а на голове Мэгги кое-где стала просвечивать кожа. Тогда Фиа нерешительно посмотрела на Фрэнка.

– Неужели надо ее обрить? – выговорила она через силу.

Фрэнк возмущенно вскинулся, поднял руку:

– Ну нет, мам! Ни за что! Вымыть как следует керосином – и хватит. Только, пожалуйста, не надо брить!

И вот Мэгги отвели к рабочему столу, нагнули над лоханью и кружку за кружкой поливали ей голову керосином и терли едким мылом жалкие остатки ее волос. Когда с этой работой было покончено, глаза Мэгги почти ничего не видели – так долго и старательно она жмурилась, а на лице и на коже головы высыпали красные пупырышки. Фрэнк смел остриженные волосы на лист бумаги и сунул в печь. Потом окунул метлу в жестянку с керосином. Они с матерью тоже вымыли головы едким мылом, которое жгло кожу так, что дух захватывало, а потом Фрэнк взял ведро и вымыл пол в кухне раствором, которым моют овец.

Наведя в кухне стерильную чистоту, не хуже, чем в больнице, они прошли по спальням, сняли одеяла и простыни со всех кроватей и до вечера кипятили все это, выжимали и

развешивали для просушки. Матрасы и подушки повесили на забор за домом и обрызгали керосином, а ковры в гостиной выбивали так, что только чудом не превратили в лохмотья. Все мальчики призваны были на помощь, только Мэгги не позвали, на нее и смотреть никто не хотел. От позора она спряталась за сараем и заплакала. После всех терзаний голова горела, в ушах стоял шум, а еще горше и мучительнее был горький стыд; когда Фрэнк ее здесь отыскал, Мэгги даже не подняла на него глаз и, как он ее ни уговаривал, не хотела идти в дом.

В конце концов Фрэнку пришлось тащить ее домой насильно, а Мэгги отбивалась руками и ногами, и когда под вечер вернулся из Уэхайна Пэдди, она забилась в угол. Вид стриженой дочкиной головы сразил Пэдди – он даже всплакнул, раскачиваясь в кресле и закрыв лицо руками, а домашние стояли вокруг, переминались с ноги на ногу и рады были бы очутиться за тридевять земель. Фиа вскипятила чайник и, когда муж немного успокоился, налила ему чашку чаю.

– Что там случилось, в Уэхайне? – спросила она. – Мы тебя заждались.

– Ну, первым делом я отстегал кнутом этого итальяшку и швырнул его в колоду, из которой лошадей поят. Потом вижу – из своей лавки вышел МакЛауд и смотрит, я ему и объяснил, что к чему. МакЛауд кликнул в трактире еще ребят, и мы всех итальяшек покидали в эту лошадиную водопойню, и женщин тоже, и налили туда несколько ведер овечьего мы-

ла. Потом пошел в школу к сестре Агате, и она чуть не сбесилась – как это она раньше ничего не замечала! Вытащила она ту девчонку из-за парты, глядит – а у нее в волосах целый зверинец. Ну, отослала ее домой – мол, пока голова не будет чистая, чтоб ноги твоей тут не было. Когда я уходил, она с другими сестрами всех ребят подряд проверяла, и, ясное дело, еще нашлась куча таких. Эти три монашки и сами скребутся вовсю, когда думают, никто не видит. – Вспомнив об этом, он ухмыльнулся, но посмотрел на голову Мэгги и опять помрачнел. – А ты, барышня, больше не смей водиться ни с итальяшками, ни с кем, хватит с тебя братьев. А не хватит – тем хуже для тебя. И ты, Боб, гляди, чтоб она в школе ни с кем больше не зналась, понял?

Боб кивнул:

– Понял, пап.

На другое утро, к великому ужасу Мэгги, ей опять велели идти в школу.

– Нет, нет, не пойду! – взмолилась она и обеими руками схватилась за голову. – Мама, мамочка, не могу я такая в школу, там же сестра Агата!

– Прекрасно можешь, – сказала мать. Фрэнк посмотрел просительно, но она словно и не заметила. – Вперед будешь умнее.

И повязала голову Мэгги коричневым ситцевым платком, и поплелась она в школу, еле передвигая ноги. Сестра Агата ни разу не взглянула в ее сторону, но на перемене девоч-

ки сдернули платок, чтобы посмотреть, на что она теперь похожа. Лицо Мэгги почти не пострадало, но коротко стриженная голова с воспаленной, разъеденной кожей выглядела устрашающе. Тут подоспел на выручку Боб и увел сестру в тихий уголок – на крикетную площадку.

– Плюнь на них, Мэгги, не обращай внимания, – сердито сказал он, опять неумело повязал ей голову платком, похлопал по закаменелым плечам. – Они просто ведьмы. Жаль, я не догадался прихватить у тебя с головы несколько штук про запас. Только бы эти злюки зазевались, я бы им подпустил в космы.

Подошли младшие мальчики Клири и до самого звонка сидели и стерегли сестру.

Тереза Аннунцио забежала в школу только на большой перемене, голову ей дома обрили. Она хотела поколотить Мэгги, но, конечно, мальчики не дали. Отступая, она высоко вскинула правую руку со сжатым кулаком, а левой похлопала по бицепсу – загадочный ворожейный знак, никто его не понял, но всем мальчикам понравилось – надо перенять!

– Ненавижу тебя! – закричала Тереза. – Твой отец моему все испортил, теперь нам придется отсюда уехать! – И она, рыдая, убежала.

Мэгги не опустила головы и не проронила ни слезинки. Она училась уму-разуму. Что бы про тебя ни думали другие, это все равно, все равно, все равно! Девочки теперь ее сторонились – побаивались Боба и Джека, да и родители, про-

слышав о случившемся, велели детям держаться от нее подальше: так ли, эдак ли, а дружба с кем-либо из Клири обычно к добру не ведет. И последние школьные дни Мэгги, как тут выражались, провела «в Ковентри» – это был настоящий бойкот. Даже сестра Агата не нарушала новую политику и зло срывала уже не на Мэгги, а на Стюарте.

Как всегда бывало, когда дни рождения младших детей приходились в будни, праздновать шестилетие Мэгги решили в следующую субботу, и тогда-то она получила заветный сервиз. Посуду расставили на красивом голубом столике – столик вместе с двумя такими же стульями искусно смастерил Фрэнк в минуты досуга (которого у него никогда не бывало), и на одном из этих стульчиков восседала Агнес в новом голубом платье, сшитом Фионой в минуты досуга (которого у нее тоже никогда не бывало). Горестно смотрела Мэгги на бело-синие узорчатые чашки и блюдца с веселыми сказочными деревьями в пушистых цветах, с крохотной пышной пагодой и невиданными птицами и с человечками, что вечно спешат перейти выгнутый дугою мостик. Все это начисто утратило былую прелесть. Но Мэгги смутно понимала, почему родные, урезая себя во всем, поднесли ей, как они думали, самый дорогой ее сердцу подарок. И, движимая чувством долга, она приготовила для Агнес чай в четырехугольном чайничке и словно бы с восторгом совершила весь положенный обряд чаепития. И упорно продолжала эту игру много лет, ни одна чашка у нее не разбилась и даже не

треснула. И никто в доме не подозревал, как ненавистны ей этот сервиз, и голубой столик со стульями, и голубое платье Агнес.

В 1917 году, за два дня до Рождества, Пэдди принес домой свою неизменную еженедельную газету и новую пачку книг из библиотеки. Однако на сей раз газета оказалась поважнее книг. Ее редакция под влиянием ходких американских журналов, которые хоть и очень редко, но все же попадали и в Новую Зеландию, загорелась новой идеей: вся середина посвящена была войне. Тут были не слишком отчетливые фотографии анзаков[2], штурмующих неприступные утесы Галлиполи, и пространные статьи, прославляющие доблестных воинов Южного полушария, и рассказы обо всех австралийцах и новозеландцах, удостоенных высокого ордена – креста Виктории за все годы, что существует этот орден, и великолепное, на целую страницу, изображение австралийского кавалериста на лихом скакуне: вскинута наотмашь сабля, сбоку широкополой шляпы развеваются шелковистые перья.

Улучив минуту, Фрэнк схватил газету и залпом все это проглотил, он упивался этой ура-патриотической декламацией, в глазах загорелся недобрый огонек. Он благоговейно положил газету на стол.

– Я тоже хочу воевать, папа!

---

[2] Солдаты Австралийско-Новозеландского корпуса в годы Первой мировой войны.

Фиа вздрогнула, обернулась, расплескав мясной соус по всей плите, а Пэдди выпрямился в кресле, забыв про книгу.

– Ты еще слишком молод, Фрэнк, – сказал он.

– Ничего подобного, мне уже семнадцать, папа, я взрослый! Как же так, немцы и турки режут наших почем зря, а я тут сижу сложа руки? Пора уже хоть одному Клири взяться за оружие.

– Ты несовершеннолетний, Фрэнк, тебя не возьмут в армию.

– Возьмут, если ты не будешь против, – возразил Фрэнк и в упор посмотрел черными глазами на Пэдди.

– Но я очень даже против. Сейчас ты у нас один работаешь, и ты прекрасно знаешь, нам не обойтись без твоего заработка.

– Но в армии мне тоже будут платить!

Пэдди засмеялся:

– Солдатское жалованье, да? Кузнецу в Уэхайне платят куда лучше, чем солдату в Европе.

– Но там я, может быть, чего-то добьюсь, не останусь на всю жизнь кузнецом! А иначе мне не выбиться, папа!

– Чепуха! Ты не знаешь, о чем говоришь, парень. Война – страшная штука. Я родом из страны, которая воевала тысячу лет, я-то знаю, что говорю. Слыхал ты, что рассказывают ветераны бурской? Ты ведь часто ездишь в Уэхайн, так вот, в другой раз послушай их. И потом, я же вижу, для подлых англичан анзаки просто пушечное мясо, они суют нашего брата

в самые опасные места, а своих драгоценных солдат берегут. Гляди, как этот вояка Черчилль зазря погнал наших на Галлиполи! Из пятидесяти тысяч десять тысяч убито! Вдвое хуже, чем расстрелять каждого десятого. И с какой стати тебе воевать за старуху Англию? Что ты видел от нее хорошего? Она только и знает сосать кровь из своих колоний. А приедешь в Англию – там все от тебя нос воротят, уроженца колоний и за человека не считают. Новой Зеландии эта война не опасна, и Австралии тоже. А если старуху Англию расколошматят, это ей только на пользу; сколько Ирландия от нее натерпелась, давно пора ей за это поплатиться. Даже если кайзер и промаршируют по Стрэнду, будь уверен, я плакать не стану.

– Папа, но мне непременно надо записаться добровольцем!

– Надо или не надо, никуда ты не запишешься, Фрэнк, лучше и не думай про это. Для солдата ты ростом не вышел.

Фрэнк густо покраснел, стиснул зубы; он всегда страдал из-за своего малого роста. В школе он неизменно был меньше всех в классе и потому кидался в драку вдвое чаще любого другого мальчишки. А в последнее время его терзало страшное подозрение – вдруг он больше не вырастет? Ведь сейчас, в семнадцать, в нем те же пять футов три дюйма, что были в четырнадцать. Никто не ведал его телесных и душевных мук, не подозревал о тщетных надеждах, о бесплодных попытках при помощи труднейшей гимнастики хоть немно-

го вытянуться.

Между тем работа в кузнице наградила его силой не по росту: старайся Пэдди нарочно выбрать для Фрэнка самое подходящее занятие при его нраве и складе, он и тогда не мог бы выбрать удачнее. Маленький, но крепкий и напористый, в свои семнадцать он в драке еще ни разу не потерпел поражения и уже прославился на весь мыс Таранаки. Даже самый сильный и рослый из здешних парней не мог его побороть, потому что в бою для Фрэнка был выход всей накипевшей злости, чувству ущемленности, недовольству судьбой, и при этом он обладал великолепными мышцами, отличной сметкой, недобрым нравом и несгибаемой волей.

Чем крупнее и крепче оказывался противник, тем важнее было Фрэнку победить его и унизить. Сверстники обходили его стороной – кому охота связываться с таким задирой. И Фрэнк стал вызывать на бой парней постарше, вся округа толковала о том, как он сделал отбивную котлету из Джима Коллинза, хотя Джиму уже двадцать два, и росту в нем шесть футов четыре дюйма, и он вполне может поднять лошадь. Со сломанной левой рукой и помятыми ребрами Фрэнк продолжал молотить Джима, пока тот, скуля, не свалился окровавленным комом к его ногам, и пришлось удержать его силой, чтобы не пнул уже бесчувственного Джима в лицо. А едва зажила рука и сняли тугую повязку с ребер, Фрэнк отправился в город и тоже поднял лошадь – пускай все знают, что не только Джиму такое под силу и дело тут не в росте.

Пэдди знал, какая слава идет о его необыкновенном отпрыске, и прекрасно понимал, что в бою Фрэнк стремится утвердить свое достоинство, однако его сердило, когда эти драки мешали работе в кузнице. Пэдди, и сам ростом невеличка, в молодости тоже доказывал свою храбрость кулаками, но в его родном краю немало людей и пониже, а в Новую Зеландию, где народ крупнее, он приехал уже взрослым. И сознание, что он ростом не вышел, не терзало его неотступно, как Фрэнка.

И теперь Пэдди осторожно присматривался к парнишке и тщетно силился его понять; сколько ни старался он относиться ко всем детям одинаково, старший никогда не был так дорог ему, как другие. Он знал, жену это огорчает, ее тревожит вечное молчаливое противоборство между ним и Фрэнком, но даже любовь к Фионе не могла унять постоянную неодолимую досаду на Фрэнка.

Коротковатые, но хорошо вылепленные руки Фрэнка прикрыли газетный лист, в глазах, устремленных на отца, странно смешались мольба и гордость – гордость чересчур упрямая, чтобы высказать мольбу вслух. Какое чужое лицо у мальчишки! Нет в нем ничего ни от Клири, ни от Армстронгов, разве только глаза, пожалуй, походили бы на материнские, если бы и у Фионы они были черные и вот так же гневно вспыхивали из-за каждого пустяка. Чего-чего, а храбрости парнишке не занимать.

После того, что сказал Пэдди о росте Фрэнка, разговор

оборвался; тушеного кролика доедали в непривычном молчании, даже Хьюги и Джек лишь вполголоса перекидывались словечком да поминутно хихикали. Мэгги вовсе ничего не ела и не сводила глаз с Фрэнка, будто боялась, что он вот-вот растворится в воздухе. Фрэнк для приличия еще немного поковырял вилкой в тарелке и спросил разрешения встать из-за стола. Через минуту от поленницы донесся стук топора. Фрэнк яростно накинулся на неподатливые колоды, которые Пэдди добыл про запас, – это твердое дерево горит медленно и дает зимой вдоволь тепла.

Когда все думали, что она уже спит, Мэгги приотворила окно и украдкой пробралась к поленнице. Этот угол двора играл особо важную роль в жизни всего семейства; пространство примерно в тысячу квадратных футов устлано плотным слоем коры и мелких щепок, по одну сторону высятся ряды еще не разделанных бревен, по другую – мозаичная стена аккуратно уложенных ровных поленьев как раз по размеру дровяного ящика в кухне. А посередине остались невыкорчеваны три пня, на которых можно рубить дрова и чурки любой величины.

Фрэнка тут не оказалось – он орудовал над эвкалиптовым бревном, таким огромным, что его не втащить было даже на самый низкий и широкий пень. Бревно в два фута в поперечнике лежало на земле, закрепленное на концах железными костылями, а Фрэнк стоял на нем, упористо расставив ноги, и рубил поперек. Топор так и мелькал, со свистом рассе-

кая воздух, и рукоятка, стиснутая влажными ладонями, издавала какой-то отдельный шипящий звук. Лезвие молнией вспыхивало над головой Фрэнка, блестело, опускаясь, тусклым серебром и вырубало из ствола клинья с такой легкостью, точно то был не твердый, как железо, эвкалипт, а сосна или какой-нибудь бук. Во все стороны летели щепки, голая грудь и спина Фрэнка взмокли, лоб он повязал платком, чтобы пот, стекая, не ел глаза. Такая рубка – работа опасная, чуть промажешь – и полступни долой. Фрэнк перехватил руки в запястьях ремешками, чтобы впитывали пот, но рукавиц не надел, маленькие крепкие руки держали топорище словно бы без усилия, и каждый удар был на диво искусным и метким.

Мэгги присела на корточки возле сброшенной Фрэнком рубашки и смотрела пугливо и почтительно. Поблизости лежали три запасных топора – ведь об эвкалипт лезвие тупится в два счета. Мэгги втащила один топор за рукоять на колени к себе и позавидовала Фрэнку – вот бы и ей так ловко рубить дрова! Топор тяжеленный, она его насилу подняла. У новозеландских топоров только одно острое, как бритва, лезвие, ведь обоюдоострые топоры слишком легкие, эвкалипт такими не возьмешь. А у этого тяжелый обух в дюйм шириной и топорище закреплено в его отверстии намертво вбитыми деревянными клинышками. Если топор сидит непрочно, он того и гляди соскочит в воздухе с топорища, промчится, как пушечное ядро, и еще убьет кого-нибудь.

Быстро смеркалось, и Фрэнк рубил, полагаясь, кажется, больше на чутье; Мэгги привычно пригибала голову под летящими щепками и терпеливо ждала, пока он ее заметит. Он уже наполовину перерубил ствол, повернулся, перевел дух; снова занес топор и принялся рубить с другого бока. Он прорубал в бревне узкую глубокую щель – и для скорости, и чтоб не изводить дерево зря на щепу; ближе к сердцевине лезвие почти целиком скрывалось в щели, и крупные щепки летели чуть не прямиком на Фрэнка. Но он их будто не замечал и рубил еще быстрее. И вдруг – раз! – бревно распалось надвое, но в тот же миг, едва ли не прежде, чем топор нанес последний удар, Фрэнк взвился в воздух. Обе половины бревна сдвинулись, а Фрэнк после своего кошачьего прыжка стоял в стороне и улыбался, но невеселая это была улыбка.

Он хотел взять другой топор, обернулся и увидел сестру – она терпеливо сидела поодаль в аккуратно застегнутой сверху донизу ночной рубашке. Странно, непривычно – вместо длинных волос, перевязанных на ночь лоскутками, у нее теперь пышная шапка коротких кудряшек, но пусть бы так и осталось, подумал Фрэнк, с этой мальчишеской стрижкой ей очень славно. Он подошел к Мэгги, опустился на корточки, топор положил на колени.

– Ты как сюда попала, негодница?

– Стюарт заснул, а я вылезла в окно.

– Смотри, совсем мальчишкой станешь.

– Ну и пускай. С мальчишками играть лучше, чем одной.

– Да, наверное. – Фрэнк сел, прислонился спиной к огромному бревну, устало посмотрел на сестренку. – Что стряслось, Мэгги?

– Фрэнк, неужели ты правда уедешь?

Руками с обкусанными ногтями она обхватила его коленку и тревожно смотрела снизу вверх ему в лицо, приоткрыв рот, – она очень старалась не заплакать, но подступающие слезы уже не давали дышать носом.

– Может, и уеду, – мягко ответил брат.

– Ой, нет, Фрэнк, что ты! Нам с мамой никак нельзя без тебя! Честное слово, просто не знаю, что бы мы без тебя делали!

Как ни худо было Фрэнку, он не мог не улыбнуться – малышка сказала это в точности как мать.

– В жизни не все выходит так, как нам хочется, Мэгги, ты это запомни. Нас, Клири, всегда учили – трудитесь все вместе на общую пользу, каждый о себе думайте в последнюю очередь. А по-моему, это неправильно, надо, чтоб каждый мог сначала подумать о себе. Я хочу уехать, потому что мне уже семнадцать, пора мне строить свою жизнь по-своему. А папа говорит – нет, ты нужен семье дома. И я должен делать, как он велит, потому что мне еще не скоро будет двадцать один.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.